

Борис Споров
ФЁДОР



Борис Споров
Федор (сборник)

Православное издательство "Сатись"

2011

Споров Б. Ф.

Федор (сборник) / Б. Ф. Споров — Православное издательство
"Сатись", 2011

В новую книгу известного писателя Бориса Спорова вошли повести «Федор», «Осада», «Орфей и Трубадур», рассказывающие о нелегких судьбах и непростых путях к вере наших соотечественников и современников.

© Споров Б. Ф., 2011
© Православное издательство
"Сатись", 2011

Содержание

Федор	6
Осада	27
Глава первая	27
1	27
2	28
3	29
4	30
5	34
6	35
7	37
8	38
9	39
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Борис Спорова Федор

© Б. Споров, текст, составление, 2011

© Издательство «Сатись», 2011

* * *

Федор

Ф.Я. Гузовицу

Где наша сезонная работа, где лето, осень где, да и зима уже осадку дает, а все-таки – зима: теснит друг к другу, к теплу жмет, к нашей заветной печурке, поближе к доброму березовому огоньку. Хорошо живем, тепло и сытно и Котьке, и Каштану, и мне – слава летнему труду!.. Но когда я готовлю обед и дело доходит до лука, то невольно повторяю— и это уже пугающая навязчивость: «Ах, Федор, Федор...»

Пока жив был, нередко и раздражал, и утомлял, а не стало – и так-то не хватает этого человека, даже не рядом, вообще не хватает: пусто. Порой ведь достаточно сознавать, сердцем знать, что некто где-то существует-странствует – и уже *это* помогает жить, одолевать невзгоды и даже одиночество. Не диво ли – человек за пятьсот, за тысячу верст от тебя, а ты испытываешь его постоянное присутствие рядом: и жить легче, потому что тот – за пятьсот, за тысячу верст! – продолжает земное странствие и тоже, наверно, с памятью о тебе.

За прошлую зиму Федор побывал у меня дважды. Первый раз гостевал неделю, как бы завернул по пути – ездил из К. в Астрахань (!) за сырой таранькой.

Есть в этом что-то непостижимое – и в личном, и в общественном бытии. Тогда меня очень поразила сцена-идиллия: возвратился из Москвы, вхожу в калитку: «Боже, что за оказия!» Мужик, – а сослепу тотчас Федора я и не узнал, – сидит на крылечке, а рядом с ним Каштан – и, сукин сын, даже не бежит ко мне навстречу! И это мой-то пес, преданный и верный, который и соседей не пускает на участок... Приехал Федор и еще спустя два месяца – тоска заела. Грибов сухих захватил для рынка, а для меня приволок полчемодана лука – трудно в ту зиму было с луком – вымок, вот он и приволок. Десять дней гостевал. Грибы продали, по редакциям с его рассказами шастали, а вечерами мы точно прощались...

Восемь месяцев нет Федора, а лук-то я до сих пор ем, и как только берусь за луковицу, так: ах, Федор, Федор... Нет Федора, простенького и непостижимо сложного, откровенного и загадочного, целостного и противоречивого человека. Я не тотчас понял, насколько же он сложен, этот Гурилев Федор-то Яковлевич. А ведь с кем только и не доводилось сходиться, даже с академиком однажды общался, но, увы, все по какой-то схеме распознавались; Федор ни в одну схему не укладывался – Федор сложнее.

Лет пятнадцать мы знали друг друга.

Нет более осязаемой радости, чем та, когда выпускаешь маленькую хрупенькую птичку из руки своей на волю. Зимой синицы чаще других залетают ко мне на веранду. Влетит и с перепуга хлещется в стены да в стекла. Идешь на выручку – мои Котька и Каштан не прощают вторжения в свои пределы.

Идешь помочь, а она, глупая, погибель видит – со всего крыла врежется в стекло и, как правило, оглушенная падает – и крылья на стороны. Внесешь в комнату, изо рта напоишь – пьет, вот и головкой в монашеском платочке запокручивала – отудобела. Каштан визжит от негодования, Котька, развалившись на полу, бьет хвостом, луковично-желтым глазом косит, но ни с места – ему-то известно, *что* за птиц, – не раз он за них по ушам получал. И вот на крыльце осторожно разжимаешь ладонь: только миг недоверия – и встрепенется живой комочек, взмоет вверх, в разреженный морозом воздух, в небо – волюшка! И обязательно уже на лету пискнет: пи-и-и! – и мне все кажется: так она благодарит. А может это крик восторга, торжества, победный клич? Бог весть. Но всякий раз я думаю: а понимает ли синица, что побывала в могущественной руке, и настолько могущественна эта рука, что и сравнить по-птичьи не с чем; запомнит ли она, что ее поили изо рта и что согрели дыханием, обласкали – и выпустили?

Или же синица отнесет все на счет своей пронируемости и даже храбрости-воинственности, и будет хвастаться перед себе подобными, что вот-де пережила она такое, такое (!), однако хватило сил, воли и ловкости, чтобы вырваться из обреченности, уйти от судьбы... Боже мой, не так ли и человек подчас о себе думает! Не так ли и человек – потрясенный – оказывается во всемогущей, невидимой или неосознаваемой деснице; и не так ли и его выпускает незримая воля из судьбы-обреченности в жизнь; и не так ли же гордится и человек своей ловкостью и пронируемостью, не сознавая или не желая признать, что он – лишь синица в мощной деснице, могущей и сжать, и разжать?..

...Федор в заштатном городишке работал тогда литсотрудником в районной газете. Навалившись грудью на стол, он сосредоточенно писал, причем левой рукой. Лысина его сияла как прожектор. Наверняка не профессиональный журналист. Заведующий отделом в ответ засмеялся.

– Это уж точно!

Поднял голову и Федор. Его взгляд, глаза его – буквально поразили меня... На вид ему лет сорок пять – оказалось, тридцать пять: чуточку конопатое лицо, лысина-плешь до затылка и пышные бакенбарды до складок рта – все это должно бы делать человека солидным. Но Федор имел на редкость детское выражение лица. Представить его ребенком – никакой трудности. И особенно глаза: большие, точно в изумлении распахнутые, серенькие, как пепел сигаретный, и жиденькие: то смеющиеся, то лукавые.

– О тебе говорим, Федор Яковлевич.

– А что обо мне? – Федор поднялся из-за стола, закурил; был он низкого росточка, казалось, щупловатый, так что невольно обращали на себя внимание его широкие мускулистые руки со вздутыми венами – вот уж маховики!

– Матвей Иванович говорит: непрофессиональный ты журналист.

– Что так? – изумился, но тотчас и засмеялся – опять же по-детски. – Э, в сало масло: писак-русак-самоучка!

– Профессиональные, они не корпят над листом, не углубляются – по поверхности плывут, и за столом сидят прямо.

– А меня после посуды мотает – вот я и держусь крепче за стол, чтобы за борт не смыло. – Федор глянул на часы, улюлюкнул: – Эх, в сало масло, пора и вахту сдавать... В кабак, что ли? Пиво там свежее привезли. А у меня пара воблин! – Лицо его так и запереливалось солнечными морщинами...

С тех пор наша взаимосвязь с Федором не прерывалась, хотя и встречались в год раз по обещанию, переписывались от случая к случаю, и лишь в последние несколько лет потянулись друг к другу.

Поразили меня два обстоятельства. В тридцать пять лет Федор писал стихи. Сам я никогда стихами не увлекался и так думал: если до тридцати не поэт, то уж какие там стихи на четвертом десятке!.. И еще: оказалось, что Федор-то парень флотский, и не то чтобы там год-два отслужил или на берегу, а по большому счету – флотский. Внешность его как-то не вязалась с понятием «морского волка», каковым он на самом деле был.

В 1941 году восемнадцатилетним добровольцем он оказался на Северном флоте и всю войну провел на торпедных катерах – наиболее опасная и непомерно тяжелая военная работа. Всю войну, ни одного ранения, несчетно полоскался в ледяной воде Белого и Баренцева морей – выволакивали почерневшим; с торпедой в обнимку кувырвался, а живой. Семь с половиной лет на боевых торпедных катерах. Два года боцманом на линейном корабле. Боцманом и вторым на гражданских судах – еще пять лет. А всего – пятнадцать.

В тесных каютах, когда день и ночь болтанка, когда изводила тоска по материку, по земле, Федор и писал свои стихи. Публиковал во флотских газетах. Для газет же писал коротенькие

зарисовки-корреспонденции. Оказавшись на материке, на заводе, он продолжал поддерживать связь с флотской печатью и с районкой. Сотрудников в районной газете не хватало, Федору и предложили в штат... Тогда-то и познакомились.

Все мы жилимся, пытаюсь скрыть свои семейные неурядицы. Да и чем гордиться-бахвалиться? И только когда уже не скроешь – не прикроешь, когда уже сор на миру – становимся откровенными. Скрывал и Федор, хотя его-то дело как на ладони – тотчас понять лишь трудновато, кто прав, а кто виноват.

В 1946 году, битый-стреляный в двадцать три-то годочка, приехал он в отпуск роздыхнуться – в деревню. Да только в родной деревне родни – никого: мать скончалась во время войны, младший брат в армии, две сестры замужем в чужих краях, и домишко продан – остановиться негде. Тут-то и подвернулась вдовая Анна с дочкой. Баб Федор знал лишь во сне – пленила без труда.

И началась семейная хроника...

Его не списывали, да и море держало; она на Север с детьми не ехала, тянула в деревню, домой. Он накатывал лишь в отпуск, каждый раз оставляя ребенка: к первой своей дочке Анна приносила от Федора еще трех дочек и сына. Когда же его списали, приехал вроде навсегда, то скоро и ужаснулся – погибель!

– Э, друже, ешь твою в клеш! – не раз восклицал он весело. – Пять гавриков, баба-нянька, теща больная, а в колхозе паши не паши – все одно: ноль целых, хрен десятых! – Да и отвык от земли. Покрутился-повертелся, да и махнул по своему же следу – в торговый флот. Пятаки-то шли хорошие, и барахлишко, и золотишко – все домой, домой, домой, а как будто и дома нет! Вот крест – так уж крест...

Когда мы впервые сошлись, старшей дочери исполнилось восемнадцать лет, она уже работала на заводе. А младшая – в школу не ходила. Семь душ в четырнадцатиметровой коммуналке. Можно бы и рехнуться, но соседом в одной из комнат был вратарь местной футбольной команды. Комната ему надобилась, чтобы лишь от случая к случаю переночевать. Зимой комната и вовсе пустовала, так что Федор по договоренности с вратарем и прятался от семьи в той комнате. Вскоре вторые соседи получили изолированную квартиру; после хлопот – трое все-таки работали на заводе, да и всех семь! – освободившаяся комната перешла на лицевой счет Федора. А еще через год вратарь перешел в футбольную команду другого района – и Федор забаррикадировался: выселил из квартиры всех своих, заперся, гвоздями изнутри зашил дверь, припер сундуком, затесал подпорки, положил рядом с собой топор. Приходили получившие ордер, приходили представители с завода, приходила милиция – из-за двери одно: первому вошедшему рублю голову, а потом и себе. Штурмовать третий этаж с улицы не решались – зрелище неприглядное, дежурили – не выходит. Анна тем временем, прихватив малых, бегала по кабинетам: муж сойдет с ума, дети на улице, все не работаем... Через неделю она пропела-оповестила:

– Федюха, отмыкайся, ордер на руках – наша фатера!

Так на пятом году береговой жизни Федор с семьей остался в квартире один – три комнаты, ну, не фарт ли!..

Есть люди, голоса которых – тон, звучанье, манера говорить – раздражают настолько, что не знаешь, как и прожил бы вместе неделю-две. Трагедия. Обычно голос такой вызывающе громок, баранье упрямство в нем, ложь и кривлянье и таранная прямолинейность. Да и базар обычно заводится о том, о чем помолчать бы или так, тихо, подпольно, что ли, объясниться. Нет, бесцеремонное буханье по перепонкам... Подобным голосом, да еще со слезливо-жалобной подоплекой, и обладала Анна. Наши с Федором беседы клеились лишь до ее появления. Приходила, пусть даже в добром настроении, и тотчас начиналось буханье с жалобами на мужа, на судьбу, на жизнь. И тотчас Федора начинало корежить, вскоре он ошестинивался и запускать в оборот свои боцманские круглые бляшки..

– Вот, вот, – тотчас и всхлипывала Анна, – полюбуйтесь, послушайте...
И тогда Федор предлагал прогуляться – до магазина...

Он не раз бывал у меня в К., заходил и в редакцию, всякий раз поражая сотрудников отдела: с одной стороны, застенчив, ну, красная девица, с другой – настырный до невменяемости, когда дело доходило до обсуждения его стихов или рассказов-коротышек... А потом как-то вдруг он замолчал – ни самого, ни писем. А тут и оказия – на летучке редактор объявил:

– Был у нас автор, Гурилев. Да, Федор Гурилев, стишки, что ли, печатали. Думаю, надо воздержаться... Не давать – ни строки.

Естественно, вопрос:

– А в чем дело?

– Да дело-то, – говорит, – простое: вот письмо прислали, из райкома партии. – И редактор зачитал уведомление: Гурилев, Федор Яковлевич, заявил в парткоме завода, что он человек религиозный и сдал партийные документы... – В религию мужик ударился, в секту, что ли, записался или так... спятил. Ничего страшного, но с публикациями и впредь воздержимся, дело ясное, – подвел черту редактор.

Я был поражен не столько самим фактом – хоть и редко, подобное все-таки случалось, – сколько тем, что Федор-то для меня потемки, Федора-то я не знаю – и это после стольких лет товарищества! Каждое его письмо, каждая в прошлом наша встреча стали вдруг для меня переиначиваться. (Но так он и ушел, до конца не раскрывшись.) Тогда же, после партийной оказии, я поспешно взял командировку «в сторону Федора».

Он отпустил бороду – седая, окладистая. Но даже борода не могла скрыть – очень он постарел. Его корежил фронт, корежил Север: отнимались ноги, изводила головная боль – давление. Ко всему, и в глазах поселилась болезненная недоверчивость.

«Подержали, видать, мужику нервы», – решил я.

...И что со мной, что во мне, что вокруг – творится что-то, а не понять – что? Недоброе что-то, нездоровое. И раньше бывало, в заочно-институтскую бытность, тогда и в школе с перегрузкой работал, творилось неладное: только голову на подушку – и глаза вроде открыты, а уже шум, наваливается нечто бестелесное, впрочем, весомое и нутром осязаемое, то под детский крик или вой, то сапой, и давит – мучительно, тяжело, до холодного пота. Наверно, и есть домовый. Нервишки сдали, и причины тому были... Теперь же – другое. Не раз уже замечал: в характере моем, в поведении, в поступках как будто что-то чужое проступает. Заговорю, а не своим голосом, с посторонним звучанием. И сознаю: так вот прямо – и сам не свой. А потом привыкаю, а может быть исподволь, незаметно чужеродность отступает, уходит из меня.

Записываю, что вспоминается о Федоре, и чувствую: не то делаю, не то записываю, не так записываю. «А как?» – без досады думаю...

Только вот охватила тревога, не та тревога, когда страшно, а такая, скажем, как в период недельной бессонницы или когда душу смущает предчувствие, а предчувствие чего – неясно... Или еще бывает тревога, когда в комнате твоей никого нет, а ты вдруг наверно понимаешь – есть, кто-то есть рядом. Вот это самое. Мне и теперь тревожно так: кто-то за спиной сверлит затылок, а подступить не может.

Я поднимаюсь из-за стола, подхожу к окну: в огороде, во дворе – вижу Федора. Поворачиваюсь от окна в комнату – дверь моя бесшумно открывается.

Каштан вышел? Нет. Каштан, потягиваясь, выбирается из-под стола, виляет хвостом, но смотрит не на меня, а на открытую дверь. Впрочем, без смущения говорю:

– Каштан, не валяй дурака. – Иду, закрываю дверь. Возвращаюсь поспешно, смотрю в окно – Федора нет.

Ах, Федор, Федор, какая ведь нелепость: лук, возвращенный тобою на деревенских грядках, лук этот жив, существует в реальности, а ты – не существуешь, тебя – нет. Нет – и все. Как-то уж слишком неразумно.

Это вчера.

А тогда, приехав по командировке «к Федору», спрашиваю:

– Что, Федор Яковлевич, бороду отпустил?

– Отпустил, – отвечает. Невесело улыбается, разводит густую бороду: левой рукой куст направо, правой – налево. Борода сплошь седая, голова лысая, на вид ему теперь все шестьдесят. – А что, Матвей Иванович, и пора уже.

На нем широкие ватные брюки с высоким поясом, чтобы поясницу грело, валенки с голенищами до колен, теплая нижняя рубаша. И сидит он на детском стульчике перед дверцей открытой плиты, курит ББКа, так он обычно называет «Беломор». И нет в нем ни растерянности, ни подавленности, даже, напротив, сила и решительность присутствуют. Но весь он как будто устал, изнемог, отрешился – и ушел в неведомое мне созерцание. Улыбается и говорит:

– Летось поехал в деревню... нет, не в родительскую. Автобус не дотягивает, возить некого дальше. Полегоньку с посошком пинаю – пять верст. Девчушка-отроковица идет навстречу, лет восьми наверно. Остановилась, глазенками зырк-зырк, нос рыжий морщит и говорит:

«Дедушко-о, бороду-ти пошто таку отпустил?»

«А как же, – говорю, – внучка, борода – это красота для деда. Вот если помру, как же меня без бороды в гроб класть? И буду я как птенец неоперившийся оттуда выглядывать. А с бородой – это уже иной табак».

«А-а-а», – акнула и пошла довольная, все поняла...

И Федор беззвучно смеется.

– Здоровьишко-то как?

– Помаленьку.

– Выпьешь? Или пост?

– А что же нет? И в пост выпью – не смущать же гостя.

Кряхтит, поднимается. Граненые стопки на стол, из холодильника маринованных грибов, лучку покрошил, маслицем заправил, капустки вилоквой нарезал, ситного во всю буханку накроил – что еще-то?!

Сели.

Сдвинули.

Спрашиваю:

– Нервы подергали?

– В партийной-то управе? Да нет, экая беда – доходягу потеряли. А для пропаганды им даже и гоже. А мне что – повернулся и пошел. Не директор... На мою-то каторгу не всякий и сунется – по первой сетке вредность... Сколько в членах был? Да считай, с сорок второго – двадцать пять годков... яд в уши.

– Не в секту?..

Так головой и затряс, так и захлопал глазами:

– Помилуй, друже, в какие сектанты?! Сектантство – это раскол, а я за единство... Чай, у нас и своя вера – родная... А я ударник комтруда, всей бригаде присвоили. А тут на тебе – всех и опозорил, вроде бы. Сектант!

– Да объяснил бы...

– Э, друже, в том и беда – всем не объяснишь, а еще – не верят. Да и была нужда оправдываться! Я ведь пахарь, не жулик... – Федор усмехнулся: легонько сотрясается всем телом, истонченная опушка волос ласково колыхнется – как у трехлетнего ребенка.

Смотрю на него и никак не верится, что и роста в нем всего-то 162 сантиметра, и здоровышкошибко подорвано. Нет же, мнится и видится: крепость в нем крепкая...

– Ну голубь, ну гусь! Как и решился?!

– Эх, решка, решка – выпала... давно бы откровенно, давно бы уж отрешкаться... давно бы разойтись. Да отложки были: квартиру выбивал-ждал, дети учились, теперь Ваське в институт... Поступил. В инженеров водного транспорта. Вот уж коренной флотский будет. Не видать и ему земли, не быть семьянином – отрубил пуп от материка. Вот так... Значит, говоришь, депешу редактору настрочили из управы. Опричнина. Как же – дух не тот! – И Федор, посмеиваясь, пропел петухом: – Бесы ладана боятся, бесы ладана бегут, бесы пьют и веселятся в бесовском, в своем кругу... Значит – ни строки? И наплевать, прочтет друг мой – и ладно...

Иду по темному коридору. Слышно, в унитазе позвенькивает вода – клапан пропускает, не держит. Просторный коридор. Темно. Спотыкаюсь о свой же портфель, злобно пинаю его. Что так, почему злобно? Может, потому, что там рукописные рассказы Федора, которые никогда не будут даже перепечатаны на машинке... Боже, нет и обыкновенной борьбы за выживание, только хладнокровное иго, иго утюга, что-то разглаживающего, что-то палящего, уничтожающего... Жестоко.

Как навечно подземельные жители мечтают о теплом солнышке, так поверженные, некогда сильные мужчины мечтают опростеньких добрых женщинах. Весь тут Федор – в своей «коротышке»:

Упахтался Иван – зябь пахал. И не столько земля измучила, сколько трактор. По пути домой заглянул Иван в сельмаг: купил четвертинку, здесь же и выпил. Луковицу из кармана достал – закусил. Похрупывает сочно и на глазах пьянеет.

А бабка Мотря соль брала каменную, для солки, десять пачек. И бочком, бочком поспешает: сумка тяжелая ноги охлестывает. Опередить Ивана надоть. И уже гремит в окно скрюченной пятерней, вызывает Марию:

– Эй, Марья, а Марья! Этта твой-то Иван в сельпе уже и намурызгался! Пьяней вина...

Иван усталый да злой от усталости идет к дому, вздыхает да поругивается, голову на груди несет – зверь зверем, кобель кобелем.

А Марья расстегнула пуговку на кофточке, да и выскочнула на крылечко, да и всплеснула руками, как крыльями, и ласково нараспев, на полдеревни:

– А Ваня-то у меня зо-ло-той!..

Иван рядом, Иван затормозился – в недоумении поднял голову: и куда усталость да злоба девались – улыбка к ушам так и поплыла...

– Ушел ведь я, уволился с завода... Нет, не потому. Здоровья нет, худо... И задумка у меня душевная: домишко огоревать в деревне, пока дешевы. На родине... Вот малость подлечусь – и махну на Камчатку, на полгода, пятаков и привезу – и куплю. – Закинул ногу на ногу, обхватил колено прямо-таки богатырскими лапищами.

– Сколько ты их, пятаков, привозил – где они? Только руки, как лапти, разбитые и есть.

– В детях пятаки. – И вздохнул: – Крест мой вечный. А теперь еще и Ваське надо подможу. А так и мне, может, пятаков останется – на домишко... Да я уж, понятно, не на посудину, по бережку. А то и в Мурман можно, хоть шкипером... Эх, хорьки мы с тобой, Матвей, пить умеем, а петь не умеем. Я хоть и Гурилев, а не могу – чиряк в ухе... А винца возьмем. Я и схожу, вечер-от до-о-лгий... Махнем, Матвей, на Камчатку! Там свои, флотские, первыми, друже, ходят. А я откукарекался... Не поедешь, аспирантура... Может, и надо... Мне так вот грамотешки и не хватает, эх, безвременье, загреби его в ящичек! Когда вот пишу – не хватает. Марш, музыку в словах не могу ухватить. Вокруг да рядом, а не дается. Никак, широты не хва-

тает, горизонта. Проза ведь как хлеб, прозе простота и мудрость нужны, это стишки – десерт, как орешки, да я, полагай, стишки и не пишу теперь. А на прозу, чувствую-понимаю, силенок, грамотешки, горизонта недостает, а думалось – проще... Ну, так я схожу? Или вместе? Вечер-от до-о-лгий...

На стене карта политическая; карта северных морских путей. Кровать железная, с сеточкой оттянутой, как колода хляблая; под клеенкой четырехногий стол: Бунин, чернильница-непроливайка и ручка древняя, деревянная, с пером «лодочка». В углу на угольнике – образ Спасителя, и лампадка теплится. А над кроватью в мореной простенькой рамке фотография – офицер белой армии с Георгием на груди: Гурилев-отец, Яков Васильевич.

За окном сумерки, но бело: лег первый снежок, наверно, раскиснет. Еще и деревья удерживают листву. И грозди красной рябины, и сирени тяжелая зелень, а понизу белый снег – красиво. И смерть бывает красивой...

Какая порча поселилась в мире, какая смута помрачила умы?! Чудовищное сочетание изощренного ума и безумия. Человек: убийца – самоубийца. Ошибка создателя, поломка в схеме или в системе, или обольщение до безумия?.. Завтра придут перестройщики: кто против перемен или не за перемены – убить! Убить миллион-два, двадцать два?! Глумление – убивать безоружных Гурилевых. Значит, и обезоруживать – глумление? Цивилизация, прогресс – в чем они? В изощренном самоубийстве? Чтобы девяносто девять копеек от рубля – на самоубийство как муравьи, как крысы, как люди...

Не постиг он тайну творчества – так и метался из крайности в крайность, знал – о чем, но не знал – как: то живопись былинки, то плотский натурализм и лишь отзвуком, отголоском одухотворенность – и тогда тот ритм, тот марш. А чиряк не в ухе, чиряк – жизнь. Одна нога на кораблике, вторая в борозде – и ни там, ни здесь...

И осталась старуха у разбитого корыта – жадность, алчность, бездушность... А что же этой старухе понадобилось? Спит плохо: лягушки рядом в пруду квакают – помеха. Перебей, старик, лягушек – спать не дают. Долго старик изощрялся, долго бил лягушек, перебил всех – тихо. Но старуха-то непутевая все одно не спит: смерти боится! А вдруг уснет да и умрет, а старик, подлый, жить останется...

Прочел и усмехнулся.

А мне и теперь все слышится – по-детски искренне, с недоумением и досадой Федор восклицает: «А, моя-то, бешеная, все мои рукописи выгребла и порвала!..»

Сжимаю виски – никак не пойму:

– Федор Яковлевич, скажи, как же это ты да в таком-то возрасте, а? К вере пришел как?

– А я, Матвей Иванович, мнится мне, и не уходил от нее. Так вот, как в тепленке жарок под золой, под пепелком и теплилось, и тлело до часу.

И уехал Федор на Камчатку. Среди зимы прислал две былицы – «Свистун» и «Липы мои, липы». Рассказывал он эти истории, а я и посоветовал ему записать их. Советовал искренне, не знаю— дельно ли? Я говорил, что вот так просто все равно не напечатают: необходим или алмаз, или жевательная резинка, которую помусолят и выплюнут – ложка да еще в дерьме. Не лучше ли честно – пусть с кровью?.. Он записал эти былицы. И я узнал его, и понял – разве этого мало?

... Три версты в телеге соседа – по пути, две версты пешком – в село Мальки. В Родительскую, на старое кладбище. Отец держал за руку. Шел он спокойно, уверенно, как и обычно, а одет был по-праздничному.

Березы высокие, березы старые, а ведь их в изголовье покойным прикапывали саженцами. Церковь на погосте не первый год на замке,

да и захоронения здесь не ведутся уже не первый год. И вот теперь под напором тридцатилетнего Гришки Броднева, прозванного с детства Свистуном, собрали местных активистов, привезли комсомольцев из района – решили разрушить. Но сломать церковь оказалось не под силу; с досады хоть осквернить: разбили окна, двери, выломали иконостас – и вместе с церковной утварью все это жгли. Самые ловкие с крыши срывали железо – дождичек-то он все размочит-разрушит. И не кто-то осквернял – сами, своими руками.

А Гришка Броднев вышагивал широким кругом, пилил на гармошке и с коротким передыхом веселил, горланил хлесткие похабные частушками.

– Смотри, Федюха, – говорил отец и тискал руку сына в своей. – Зри, запоминай, вот оно как... Беснуются. Здесь мы с маменькой твоей венчались. Здесь вас крестили. А здесь, – отец ткнул носком сапога в холмик могилы, – и дед твой, и бабка похоронены... Так-то, сынок, и это, знать, суждено пережить. – Отец вздохнул и осенил себя крестом.

Свистун дал пошире заход, чтобы уж совсем рядом протопать.

– Гришка, что творишь! – будто вскрикнул отец, когда Свистун поравнялся. – Что ли, рехнулся? Ведь могилы...

– Ась? – уронив с гармонь руки по швам, придурковато спросил Свистун. – Яков Васильевич, наше вам с кисточкой, – и руки, лукавый, развел. – Поп в Сибири – службы нет, миром правит сельсовет. Вопросы будут?

– Сволочь ты, сволочь... – отец чуточку сбычился, острый кадык медленно перекатился по горлу.

– Ну, ну, полегче ты, шкура!.. Сметаю буржуазные пережитки. Твои, Гурилев, – и отлячил нижнюю губу брезгливо.

– Сволочь, – повторил отец и, коротко усмехнувшись, плюнул Гришке в лицо. Свистун так и зыркнул по сторонам – не видел ли кто унижение такое? Утерся рукавом.

– Ну, курва единоличная, упеку, – и губы сжались, побелели: ой, лихо.

– Это уж точно: упечешь, – согласился отец.

– Упеку! И твоих... курвят по миру пуцу!

– Пустишь – это уж точно.

Свистун выругался, распустил мехи гармонь – и пошел.

Сияло солнце.

Желаемых пятаков с Камчатки Федор не привез – из шести месяцев три болел. Скрутило так, что еле выбрался. Привез четыреста рублей, так ведь это все равно что за семь верст киселя хлебать... Отлежался дома, дождался, когда проселок окрепнет. С клюкой-подпоркой и отправился в деревню – сбилось-таки, торговал недорого домишко, главное – на том самом месте, где когда-то стоял родительский дом.

Жена, Анна – мыслимое ли дело: в деревню мужик сматывается – с причетами угрожала повеситься. Федор снял с гвоздя бельевую веревку, бросил ей под ноги:

– На, вешайся. Мыло на полке.

Собрал бельишко в чемодан, увязал книги, рукописи, договорился с соседом-шофером, – и укатил в деревню за сорок верст.

В районе церквей не осталось, ни единой. Встретились в соседнем районе – на открытой паперти храма. Старик, наполовину парализованный, голова трясется, глаза обессмысленно-пустые, веки воспаленные, красные, гноятся – слеза в каналы не проходит, вечно плачет.

И все-таки узнал. Лет уже тридцать не видел: вот тебе и на – Свистун!

– Что, Гришка Броднев, трясет?
– Трясечь...
– А в церковь-то пошто? Пятаки просишь? Или грехи замаливаешь?
– Замоливаю... Осподи, помоги... Пензии-то нету.
– Нет тебе прощенья, Свистун.
– На кресте разбойник прошшон... на кресте.
– Так ты ведь тысячно разбойник!.. Ты иди в мир прощенья просить, а уж потом сюда.
– Тысячно, тысячно так. А ты почем меня знаешь – кто ты? Зрю плохо. – Старик пытался вздернуть беспомощную руку, чтобы осушить тряпицей глаза.
– Я-то кто? Да я тот, кого ты по миру пустил.
– Мало ли по миру пушшал, мало ли...
– Зришь ли?
– Зрю, токмо не признаю.
– Ну и гоже. Признаешь... Там признаешь. Стебай, Свистун, стебай, сволочь. – Федор снял шапку, спохватившись, тотчас прошептал: – Господи, прости его, – и все-таки не искренне, – и вошел в церковь.

В недуге бессильна человеческая плоть, беспомощна; без духовной крепости, без духовной подпорки – рухлядь. Не воспрянешь, не поднимешься, если уж хвороба подмяла... Все бытовые ценности и для меня теряли смысл – мертвая россыпь, как пустыня. Зато видится тогда далеко, без помех: и сжимается время, и переоценивается, казалось бы, стократно оцененное – бриллианты вдруг становятся речной галькой.

И так-то быстро распадался я изнутри, отечный, – как утопленник. Неужто конец? И сорока не исполнилось – и все сорок без праздников, жизнь, а без праздников. И мир уже, кажется, бездушен – никто не протянет руку, не скажет: «На». Или: «Приди и утешу...» Эх, Матвей, сын Ивана, у твоей души никто не греется, и для тебя нет души, чтобы согреться. А ведь как это необходимо... Одинок человек – нет друга для друга, есть каждый для себя... И скучно, и грустно... Бывало кому-то когда-то скучно, от скуки и на дуэлях стрелялись. А вот если живьем да в могиле – тогда как? Скучно?..

И все-таки нет же, не одинок, одинок, да не совсем – письмо от Федора: «Приезжал бы, друже, мед будем качать...» Боже мой, конечно же приеду, все силы выжму, а доберусь. В К... уже нет ни семьи, ни дома; у меня и вообще в жизни не было дома, бездомное мое наследство. И как же ты, Федор, счастлив, что и на склоне лет повторишь свое детское: «Вот моя деревня, вот мой дом родной».

Я еду, больной, разбитый, еду к Федору в деревню. На автобусе, потом еще на автобусе – и пять километров пешком. Эх, дотяну ли? Как-нибудь, а может, попутная или грузотакси подвернется. Два года не видел Федора, за два года два письма, ну, разве же можно так?..

Все было точно во сне, и как сон вспоминаю то время. Будто волны семицветные накачиваются и захлестывают, и звон-музыка, и сам я бестелесный, прозрачно-колышущийся. Это действительно сон, да и все – не во сне ли... Смотрю в окно: завьюженные снегом мои березы горят под солнцем белым слепящим огнем, горят холодно и лучисто – мертвы, безжизненны их тела. Но ведь очнутся весной, оживут – так неужели для человека не будет весны? Для ценного создания – и нет весны! Не абстракция ли, не парадокс ли... Ну, конечно. Вон и Федор стоит в снегу, и забрался же в самый снег! И горит Федор белым лучистым огнем, как березы, и сыплет на него рыжую шелуху еловых шишек дятел – где-то срывает, а здесь, у меня в огороде, сорит-шелушит.

А ведь добрался-таки тогда.

– Да ты ли это, Федор! – слабо воскликнул я, удивленный, глазам своим не веря.

– Я, – говорит и усмехается, ну, ребенок ребенком.

– Да ты что, на пятилетку помолодел?!

– Э, друже, мало— на две! – Он берет из моей онемевшей руки портфель и ведет меня под локоток, никудашного, в свой собственный дом, выговаривая: – Ну, друже, эх, голова, мог бы и телеграмму послать, враз и встретил бы...

На полу трава душистая сохнет, в углу – мешок коричневой и черной бородавчатой чаги – лекарство, для аптеки, дешево, а все подмога, и себе и людям. На столе – грибки-колосовички жареные, первый огурец с грядки – для гостя, стало быть, для меня. Эх, жизнь-жестянка, нельзя и глотка выпить. Земляника в миске с молоком: ешь, друже, полезно для почек... Ветерок сухим жаром в окно – дышит природа, земля дышит. Дыши, родимая, дыши, только ведь и ты в страхе— и над тобой гроза.

– Ну, Федор, Федор, чтожеты, Федор, плачешь?

– Плачу, друже, плачу. Петь не умею— досадно, вот и плачу. Эх, залетные... Эх, липы мои, липы – вон они, пни-пенечки, старые дружочки. С отростками, а и то память, вот и плачу-молодею!.. А что, друже, каждый день верст по пятнадцати по лесу отмахиваю. Никто не знает, где евовная доля, моя – в лесу...

И что утя наглotalась – подохла. Жаль утю, и всего-то их было четыре. Жаль. Даже расстроился. Плетюху на плечо – и в лес, лес успокоит. То колосовичок, то чаги нарост – в плетенку, в плетенку. То черники куст, то земляничка – в рот, в рот, языком к нёбу. И думы светлеют, и на душе спокойнее. А тут под сосенкой на взгорочке курочка-тетерка, убитая – из головы кровь, а еще теплая – в плетенку. Вот тебе и получи – утю. Господи, лес-кормилец.

Липы мои, липы...

И все-то детство в этих липах. В синеве небесной маковки лип. Как под шатер в их сень тянутся люди и животные.

– Сколько вам лет, ли-и-пы!

И эхом липы отзываются:

– Ве-ка...

И карабкаются, лезут дети на липы: сначала на первый сук, на второй, а через год – выше, а еще через год – совсем высоко. И настало время, когда братья достигли вершин. Сердце обрывается – клонится, падает небо, и липы парят в небе, то, ускользая, летят, то валятся вниз.

«Вижу! И купола, и речку – вижу!» – «Край земли – вижу!» – перекликаются братья.

И шумят тревожно добродушные липы, родные липы, родина – липы.

Вижу!..

Цвели липы сплошным костром. Со всей округи пчелы – к липам. Но однажды белки из леса сбежались на липы, и много их было – ныряли как птицы в ветвях.

Древний старик Игнатий сказал:

– Белка в деревне не к добру – быть беде.

И пришла беда, и ворота для беды открылись. Эх, белочки, белочки, сколько белочек – столько бед. И кто же вас заслал-подослал, белочки?..

Яков Васильевич – уважаемый, Яков Васильевич – пример, Яков Васильевич – единоличник.

Свистит Свистун – и трава пригибается, свистит Свистун – и гроза собирается... Все бы ничего – детей много, все бы ничего – беднота... Заявились как

хозяева, сапожищами пыльными погромыхивают – в передний угол прут. И примерили браслеты на руки кормилицу – подошли. В кузов полуторки зашвырнули – и каблуком, каблуком по шее, чтобы голову контра не поднимал, чтобы других не смущал. Взревел мотор – повезли. И бегут дети вслед по дороге, падают в пыль, вскакивают – не догнать машину, голоса дети:

– Тятенька!.. Папанька!.. Тяпанька...

Через двадцать лет скажут им: не виноват тятенька-папанька, зря его пожаловали, зря пострадал.

А пока – курвята, вражата. Пять вражат и вражиха. Сорок девять дворов единоличных, пятидесятый без хозяина – теперь не в счет. И полыхнула соломка на крыше ночью с подветренной стороны. Полетели-поскакали петухи-галки: двадцать семь дворов как корова языком слизнула. Увез грузовик мужиков-поджигателей: тоже враги. А Свистун ходил да посвистывал: хороша была ночка – ведренная да ветренная.

Ах, липы, липы, сгорели липы – лишь кости черные торчат перед лицом неба. А вражиха с вражатами в летней баньке по-над болотиной. Выужит зима – трещит банька. Пить есть что, жевать – нечего. И пошла вражиха с вражатами по миру – мир велик. Не ради Христа – нельзя, а ради хлыста.

И в поле – вражата, и в школе – вражата. Лучше уж ни в поле, ни в школе; в лесу – живицу сочить. Лес схоронит, лес и накормит.

Война спасла.

– А знаешь, друже, ведь обломали, убедили к сорок-то первому: отец – враг...

Сидели за чаем.

Аккуратно подстриженная седая борода точно вплеталась в бывалую тельняшку – нет тельника, есть продолжение бороды с седым разводом. Рукава закатаны, руки крепкие, как жгуты семижилые, и в глазах – жизнь.

А жизнь наша, ух, друже, железная да двойная: ведь поверил, ведь пошел в июне сорок первого добровольцем не просто воевать – искупать вину за отца. От звонка до звонка искупал. И за лафет не прятался – для искупления. И братишка старший в сорок втором сгинул – для искупления... И только в пятьдесят седьмом искупилось... А думал, приеду после фронта в деревню, повешу ордена на фланельку – и докажу. Когда же приехал, понял: доказывать некому, да и что доказывать, друже?..

Помрачили – и отец враг. Расщепили – и сила в этом. Вот ведь как: и партийный билет на груди, да только там же – поглубже да сокровенно – и теплен-ка с жарком под пеплом... Семья в деревне, а сам к морю прилип, писать начал – и тоже разломился надвое: и море, и поле – и ни того, ни другого, лишь боль да отчаянье. А из тепленки, из-под пепла шепоток: суета, эх, суета...

Пьем чаек, в окно посматриваем: от бывлой деревни – восемь дворов, да и те не правские, работающих в колхозе – двое.

Ходили на Плешивую горушку через ложок – землянику ели, в лес за болотнику – чернику ели. А на ночь – молоко с медом. И уже через неделю поверилось мне, что и в моем теле еще может ужиться жизнь. И легче стало, угрелся и душой рядом с Федором. Ах, Федор – вот и на Севере отбухал пятнадцать годков, а глаза не обморозил, березой заиндевелой цвел, а душа теплая.

Наедет-нагрянет Анна за деревенскими продуктами – за медком, за грибами, за зеленью – и все корит:

– Экой чудо! Ведь квелый, пензихохоть отхлопочи! – и руку шлагбаумом вскидывает.

– Дура ты, баба, у меня за свои-то кровные кусок в рот не идет, а ты мне пенсию! – И посмеивается досадно и едко: – Пензия... Ты вот кошелки загружай... Да большую-то банку меда Васе побереги.

И отогрелся я, и поверил, а когда поверил, как в тетерочку в лесу, и метода вылечиться нашлась – и вылечился, до сих пор не верю, что вылечился. Только не пришлось погостевать еще-то у Федора – раскидала нас судьба на полтыщи верст.

Падает, падает за окнами снег... А вот сойдет снег, пригреет солнышко – девятого апреля година Федору. Побывать бы на могиле, липку в ограде посадить... Падает тихо снег, хорошо нам живется, и зима выпала сиротская – снежная да теплая...

Сидит Федор на крылечке – Каштана гладит. Чудо... Я и раньше замечал, есть у сукиного сына чутье такое, особое чутье – к доброте человеческой, сердечности или душевности, что ли. Злой Каштан, что и говорить, злой. За калитку не пустит, а тут на тебе – поприжался. Чувствует собака – повелевает человек. А может, волны какие, свечение какое от человека исходит – и озаряют эти волны низшую тварь или парализуют волю, завораживают. Не знаю, но что-то есть. Двоих Каштан признавал без меня – и оба добрые и страждущие. И, видимо, чем выше одухотворенность, тем покорнее и послушнее тварь. Есть, есть в человеке нечто верховное, руководящее, да только все это загублено, растеряно, заглушено самим же человеком.

Размокают в кастрюльке белые грибки, в русской печи сушеные. Сейчас мы их ополоснем, нарежем и пожарим с картошечкой. В печной трубе тесно ворочается ветер, побрякивает выюшкой. Закладываю в топку дрова, а через открытую в комнату дверь вижу: Федор на коленях молится перед складнем-иконкой на стуле. (Своих-то икон у меня нет.) Он то замирает, то глубокий вздох поднимает его спину и плечи; осенит себя крестом – и голова, чуть откинувшись назад, клонится к иконке – и тогда под лучами настольной лампы голова Федора точно опоясывается светом. И вновь оцепенение... Каштан подходит, садится с ним рядом, жметяся – погладил и легонько оттолкнул. Глубокий вздох и сухой шелест губ... Я завидую ему – и тоже вздыхаю.

– Скажи, Федор Яковлевич, о чем ты молишься?

Он улыбается, виновато как-то улыбается. Я и раньше замечал, что улыбаться виноватой улыбкой злой по природе человек не может.

– Вот и о тебе... за тебя – тоже, – и на мгновенье отдаляясь, прикрыл веками глаза. – Крест мой – семья. За детей и молюсь, виноват я перед ними.

– Ничего себе – виноват! Всех выкормил, по способностям выучил – за тысячи верст мотался за лишней копейкой. Для них! Девки замужем, сын институт окончил – что еще-то?!

– Эх, друже... Это так со стороны, а вот здесь, – он похлопал себя ладонью по груди, – все иначе и входит, и выходит...

На циновку бросили старенький флотский полушубок с выдавшим виды, но еще крепким кожаным верхом, уселись перед открытой топкой. Потрескивают, занимаются охватным пламенем дрова. Котька у меня на сгибе ноги пристроился – этот чужих не признает, Каштан дремлет рядом с Федором.

– Вот и мы, друже, как полешки: объялись пламенем – и сгорели, точно и жизни не было, промельтешились... Да, друже, я вот об этом все и думаю, не первый уже год думаю: виноват. Виноват – и не бултыхайся. Очень уж далековато от детей я плавал. Сам-то для себя вроде бы и находил светильничек – в книгах, в писании, да и посудина – не корыто, – а вот от них, как хочешь тут, схоронил этот светильничек, миской обеденной накрыл. А все, может, потому, что самому-то под козырек-якорек хватило. Вот и хотелось, чтобы им полегче жилось, чтобы, видишь ли, не хуже других были, чтобы в конфликт с опричниной не вступали до срока – соблазн, самообман! Ан нет, дура, шалишь: две-то уже со вторыми мужьями живут, а малая

с охлестком полублатным самовольно отшвартовалась и смылась – без согласия родителей, без свадьбы, в семнадцать-то лет!.. Ну, то – бабы, их Анна и окручивала. А Васька-то, сын, вроде и при мне, моя совесть, вроде отец с сыном, да только товарищами с ним никогда мы не были – времени не оставалось, пятаки зашибал... И вот теперь уже и чувствую-вижу: чужой. И на меня косится, ну, как на залетного. Вроде бы все по-хорошему, но я-то вижу: не сегодня, так завтра – раскол, Матвей Иванович, в семье раскол. Вот здесь, здесь и дорога дальняя, и рубли по метру, вот и светильник под миской... Уж если сам пережил столько-то и допинал до какой ни на есть истины, так уж используй опыт и детей при себе держи крепко. Ведь раз – полгода, другой раз – год, не подсказал, не поправил – глядь-поглядь, холодной казенной тиной и обволакивает, сын-то уже вроде и не твой, плоть-то вроде и одна, а души общей – нет. Вот тебе, в сало масло, и воспитал! Да и не воспитывал, а пекся о штанах да о куске пожирней. Машина-то, эх, шестеренчатая, а человек. Что человек – слабак, и хвост по ветру. Ведь согласился, что отец враг, хоть и малым остался... Оно ведь как? Приходит из школы: «Папа, в октябрята (а потом в пионеры) принимать будут – приниматься?» Ни зазорного, ни дурного в этом вроде бы и нет. Сказать: не вступай, не разрешаю – послушает. Но ведь будет твой сынок навряд наглядной агитации – зашпыняют... А крестик нательный, а ну как увидит учительница или вожатая – погибель мальчонке! Вот и говоришь: вступай. Постаршеет, мол, тогда объяснимся. А машина-то шестеренчатая – конвейер! Добро пожаловать – в комсомол. И опять – вступай?.. Нет, не видать сыну ни десятилетки, ни института как своих ушей. Такую ли депешу настрогают, ого! Давай, сын, семь бед – один ответ. А машина-то крутит, сушит, продувает – глядь-поглядь, а сын-то уже вроде и не твой – раскол. Вот тебе, в сало-масло, и воспитал.

Как говорится: хрен на дышло, куда хошь поверни – не вышло! А дальше – больше: ты усатому сыну уступаешь, чтобы ему и еще кому-то угодить, а не деле и оказывается – от себя отталкиваешь. И здесь уже не главное – ты прав или он, пусть хоть оба правы. Главное, что и в семье раскол... и ты – раскольник. Думал я, думал и вот надумал: виноват я перед ними – пусть бы перемучились, перестрадали, пусть бы не выучились, но тогда бы, глядишь, и девки по одному мужу имели бы, и сын – при мне. Пусть победнее, пусть потруднее, а, глядишь, была бы, друже, счастливая семья, и каждый был бы счастлив и неистребим, и под старость лет, глядишь, батьку добрым словом вспомнили бы. Ведь память, Матвей Иванович, – это, о!.. А так – в любом случае: раскол. А раскол для русского человека – это погибель... Вот оно что, вот оно где, вот оно как: и здесь расщепка, – это да, крушение, и здесь уж не до выяснения – кто прав. Дорог мир, а Истина дороже. Видать, и впрямь на Истине держится мир, да только Истина должна быть общей...

Шумели липы, качались липы – липовая роща из двух лип. И какие должны быть корни, чтобы удерживать неохватные деревья! И ни родители, ни деды, ни прадеды не ведали не знали, кто и когда посадил их, вот так все такими и были – липа-роща. Обгорели стволы, обуглились, а без привычного труда отмирали и корни, мощные подземные насосы. Спилили черные стволы на дрова, даже не столько на дрова, а чтобы не пугали людей своею безжизненностью. И долго обгнивали и дряхлели пни, превращаясь в два ноздреватых муравейника... Но какой-то корешок трудился и трудился, и качал соки, и гнал, видимо полагая, что кому-то эти соки, нужны, если он работает, пробуждаясь после зимней спячки, а вернее – вовсе не думал, трудился, был жив – и трудился. Упорство корешка и не пропало: рядом с пнем-муравейником пробился хиленький стебелек-травинка. И стоило развернуться первым крохотным листочкам, стоило солнышку подпалить нежную кожицу стебелька-побега, как поступил сигнал в подземелье: беда, горим – и трудился, гнал спасительные соки труженик-корешок... Отрастали новые корешки, оживали старые – и сотни крохотных насосов качали-нагнетали вверх влагу, чтобы неведомое, но милое и родное детище утоляло жажду. И уже через несколько лет вокруг пней

зеленело множество липок, хилых и беспомощных. Но пришел человек и порубил заступом все побеги – оставил около каждого пня по две самых крепких, самых высоких липки, и землю осторожно вокруг взрыхлил, и навозной жижей под дождичек полил взрыхленную землю.

Вроде бы от прежних лип, от былых корней, но уже новые липки. Им никогда не быть такими мощными липами, какими были те две, потому что те липы были посажены в добрую приготовленную почву, а эти проросли всего лишь на отмерших корнях, на костях. А что на костях – не обретает могущественного величия. На костях только храмы крепко стоят. И все-таки отродились, вымахали голенастые, и уже цвести начали.

А вот ухаживать за ними теперь некому.

– А что, Федор Яковлевич, сельсовет не тревожит – вот, мол, не работает, тунеядец?

– Не без того, но чтобы так – нет! – Федор смеется. – Я, друже, справки в аптеке беру. Я им добро-то сдаю, ей-ей, по цене сена! Одной чаги на полторы сотни сдал за лето – вот и триста процентов дохода государству. А потом, я ведь на общественных началах лесником работаю, бесплатно. Да, я все-таки и доходяга, а второго января мне пятьдесят стукнет, и по флоту, и по вредности на заводе положено с пятидесяти на пенсию. Обо всем этом доподлинно знают, работают свистуны-оповестители... Ну, друже, нигде, никогда, ни в жизнь такого чая не пивал, как у тебя, – или тайну имеешь? Хоть бы научил.

– Э, Федор Яковлевич, не ты первый! Но научить... это точно так же, как нельзя научить писать хорошие стихи, просто стихи – можно, хорошие – нет... Вот так рядом вставали, заваривали точно-одинаково, движение в движение, а чай получался разный. Не знаю, наверно, глаз у меня чайный.

– А у меня медовый: ни у кого в ульях меда, а я откачиваю!

– Вот и будем мой чай пить с твоим медом.

Так уж истари повелось – поздравлять с днем Ангела или рождения. Но вот человеку пятьдесят лет стукнуло, а никто не поздравил – ни жена, ни дети – никто. Один. Нет никого рядом. И уже ломает боль-досада, и приходит желание напиться до беспамятства. А тут почта-льонша – принесла бандерольку: одинокий друже от себя и Каштана поздравляет с днем рождения, и на память две книжечки – стихи Рубцова и рассказы Шукшина... Перелистнул страничку – и зачитался, и читал с полудня до полуночи. А в полночь выпил стакан водки – и запел: «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...»

Но петь-то Федор не умел, может быть, поэтому и заплакал. Плакал и усмехался, вытирал с усмешкой слезы и снова плакал. Давно так не плакалось, потому что плакал от избытка чувств и радости. В ту ночь ему открылось то, к чему он стремился, к чему призывал себя и готовил себя – свершить, во что веровал тайно, надеясь на свои лучшие творческие времена. Он плакал оттого, что думы и мысли его высказаны: нет, не от зависти или досады плакал – от счастья. Ни думы, ни мысли его, ни слова, ни страдания не пропали бесследно: подслушали, высказали те, у кого и грамотешки хватило, и слова в марше сами выстраивались – и какая разница кто высказал, кто напечатал, лишь бы высказано было, напечатано. Жить легче, когда думы твои и мысли плоть обрели, ах, как легче, и даже петь хочется, хоть петухом, но петь: «Я буду скакать...»

– Ну, друже, ну, уважил – воистину праздник! Да ведь это не Рубцов писал и не Шукшин, я, я это и писал!.. Э, друже, я и свои-то опусы захватил с собой – поведешь меня к Шукшину. Я ему и грибков самых лучших, один к одному, пять ниток приготовил, привез. Как думаешь, не обидится, если я ему грибков?

– Знаешь ли, – говорю, – а Василий-то Макарович умер в одночасье... два с половиной года тому.

Сел, вынул из кармана грязенькую носовую тряпицу – заплакал. Не по-бабы навзрыд, а как собаки плачут – беззвучно, лишь глаза целиком в слезе тонут.

– Откуда мне и знать, я ведь давно как медведь живу. Только когда читал рассказы, так и подумалось: уйдет рано – такие долго не живут, не вороны. Господи...

Достал из чемодана завернутую в полотенчику иконку и ушел в комнату, сказав:

– Ты, Матвей Иванович, лук-то выгрузи – это тебе. И грибы, пять-то ниток, выбери – они приметные...

И вечером, за чаем, когда уже поуспокоился, о том же заговорил:

– Читаю— мое, читаю— мое! И сердце в ключицу прыгает. А Николай-то Рубцов – флотский и с лысинкой, а еще четыре бы раза по стольку отштормил – и был бы как и я, голенький. А может, он у меня и на посудине служил салагой, а? Нет, не успел. (Когда же я сказал, что и Шукшин служил во флоте, Федор буквально топал ногой.) Ах, ребята, ну, братки – свои, флотские! Вот они, друже, знали, что мне-то под якорек хватило, за меня, за меня и писали! Читаю – и от души отлив, и успокоился!..

– А ты заметил, Федор, что ни тот, ни другой флотом-то в творчестве не жили? А у тебя – сплошь или пополам.

Он вздохнул:

– Знаю, Матвей Иванович, знаю. Замордовал меня флот. Они ведь послевоенные, а у меня полжизни там с фронтом. Я ведь из двух ломтей сложен... Флот – крест, семья – крест, да и грамотешки маловато. Все понимаю, все понял, поздно, но понял – и успокоился.

Хорошо, что успокоился.

Листаю-перелистываю чернильные рукописи рассказов Федора. По одной-двум фразам узнаю шукшинскую тему, и герои-простачки шукшинские, но по тем же фразам горько сознаю, что осталось дарование Федора в завязи, в зародыше – в плод не вызрело.

И все-таки как это важно – успокоиться. Значит, есть в человеке святая потребность, чтобы думы его, мысли его обрели бы плоть, стали бы достоянием общим. Там, стало быть, где живет самостоятельная мысль – нет тщеславия. Высказано – и успокоился. Не потому ли так спокойны бывают целые народы, когда их мысль воплощается-высказывается могущественными свободными мыслителями? Ведь истинный мыслитель всегда считается совестью и голосом народа, а голос народа – глас Божий. Потому-то гласность мыслителя – наипервейший определитель государственной добропорядочности... Где нет этого, там нет и быть не может свободы – ни личной, ни коллективной. Можно быть сытым, одетым, обутым и в то же время оставаться несчастным, уподобясь хрюшке, которую готовят к закланию. И нельзя подменить живую мысль, живой язык, живое слово мыслителя общественным радиодинамиком... Впрочем, о чем я, о чем? И думаю не то, и записываю не то, а все потому, что воскресенье – и я выпил стакан дурного вина. Зима сытная, живем по-барски – на два с полтиной в день, а по воскресеньям, вот, позволяем себе и лишнего... Год назад приволок Федор луку в чемодане, но тогда мы жили в глубокой нужде, должны были государству и за угол, и за электроэнергию, да и зима тогда как с ума спятила – лопались по углам обои, вымерзали яблони. Но для Федора и мороз не мороз, правда, и одет он был по-крестьянски: валенки, стеганые ватные брюки, флотский полушубок. Лямочки от шапки-ушанки завязал под бородой да и побрякивает-пошучивает: «Эх, в сало-масло, в носу клеится». На мне же все продувное. Но ехать надо, показать надо, где находится Преображенка, где там рынок – именно на этот рынок ему и хотелось. Исколесивший Север и Восток, умеющий и разумеющий все, Федор вдруг становился беспомощным ребенком, как только оказывался в столичной толчее. И рад был, что на рынке народа немного и рынок не под стеклом, не в павильонах, а с прилавочками под открытым небом.

Глаза Федора смеялись, и все его лицо смеялось, когда приценивался к торгующим грибами. Одной из них, молодой увесистой бабе, он сказал:

– А тебе, кума, крапивы в штаны насовать бы – тоже.

– Ты што, одурел, дед!

– Да не я, в сало-масло, одурел, ты – одурела! Насушила маслят червивых да еще по трояку валишь... Ладно, ладно, торгуй, не буду, – успокоил он дошлую молодуху. – Давай сюда, Матвей Иванович, нашу чемодану... Ну, в сало-масло, шевелись, если гроши завелись!.. Ты, друже, посинел, иди в магазин, погрейся да глянь, нет ли «Зверобойчика» – хороша штука...

И я сходил, погрелся. Но очень уж хотелось посмотреть, как он торгует. Торговок с маслятами возле Федора ни одной – разбежались, зато самого Федора огрудили покупатели.

– Матвей Иванович, друже, помоги – осада! – Федор был естественно весел. – Москва-то матушка, надо же, и в грибах петрит, вот так москвичи-молодцы!

Глядя на него, и покупатели посмеивались. И почти все дедушкой величали и за грибы благодарили. И уж, наверно, никто не подумал, что дедушке всего-то пятьдесят и что его шустрость и балаганность невесть откуда и взялись. Полчаса – грибов нет. И Федор тотчас стал самим собой. Разогнул на шапке уши, вытряхнул из чемодана грибную крошку, виновато улыбнулся.

– Замерз... А, хоть добрым словом и здесь помянут – по пятерке пустил. У меня ведь грибки без знака качества.

Успокоился. Понял. Понял и другое. Вернее, понял и так, как я и не подумал бы. Прочел – и понял, узнал – и понял, понял – и успокоился, успокоился – и согласился: не может один человек и пахать, и плясать, тем более одновременно. Это так только у Свистунов – и землю попахнет, и стихи напишет. Никак. Можно ли две работы работать одновременно – загребешься. Все равно что с ухватом перед печью барыню наяривать: или чугуны поперевернешь, или не спляшешь – испохабишь и то, и другое. Писать – не плясать, писать – труд великий, кабала, каторга.

Понял Федор, что лес охаживать, пасеку и огород в порядке содержать, самому о себе позаботиться, грибы собирать да грибы продавать и в то же время писать-мыслить, писать, как хотелось бы, – нет, не получится. Выбирай одно: или садись и пиши, или мирно паши – радость от того и от другого одинаковая. Только бы выбор сделать. Да вот выбор надо бы делать на зорьке утренней, а не на закате. Ведь до выбора-точки ни у Шукшина, ни у Рубцова ничегошеньки не было, да и быть не могло. Работа в хомуте – не то же самое, как если день в году плугом попахать или косой помахать. А время-то выбора и было казенное, а потом выбор пал на семью, а теперь поздно – сопливых вовремя целуют. Значит, не судьба – вот и успокоился.

И все-таки глаз у Федора острый:

Дед Прокофий грибы свежие продавал... Пока собирал, пока допинал, пока доехал до районного центра – солнышко на обед. Юркая Манефа в другой раз катит, догнала, посмеивается над старым.

– Что, Манефа, наломала? Чтой-то увесистые обабки – червястые, поди.

Манефа и рукой всплеснула:

– Город, чай, все слопает!

Народу на рынке не густо, рядком и встали. Разложила Манефа обабки – миской не покроешь – и закудахтала:

– Грибков, грибков свеженьких, токмо из лесу!

Прокофий в бороду посмеивается: ну, трясогузка.

Березовые веточки поубрал с грибов, грибы – не тронул. Гриб, чай, не баба, не любит, чтоб его тискали.

– Почем, дедушко, грибки?

– Не дороже денег... Бери, а я те и скажу – сколько... Это для лапши, а это – жарить, а это сыроежечка угодила, возьми на сковороду – она скус особый

даст. Набрала? Ну и умница. Восемьдесят копеек – и расплачивайся. Дешево, говоришь, рупь даешь? Ну и спаси тебя Бог... На здоровьице.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо из лесу!

– Ах, Манефа, ах, трясогузка, червяки-то по прилавку ползут. Баба ты, баба непутевая, жадность поперед тебя родилась... А ты не ворчи, слухай, авось поумнеешь. Что же ты, трясогузка, червями людей кормишь, али в лесу добра нет? Там тебя тоже червями кормить станут... А ты бы не два раза смыкалась, а разок – да почище и принесла бы, да и продала бы с душой, чтобы люди и тебя, дуру непутевую, добрым словом поминали бы... Продашь, продашь все, да зайкой станешь – все тебе чертей сулить будут.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо из лесу...

– Ах, Манефа, ах, свиристелка ты с дыркой... А у меня-то – все, пусто... Эй, гражданочка, вот еще грибок закатился – возьми. Ничего, ничего не надо.

– Спасибо, дедушко.

– На здоровьице... Утром-ти на сколь продала, Манефа? На шесть рублей. И теперь на четыре наторгуешь. А я вот зараз на семь с полтиной. А на рубль с полтиной я нонче спать крепко буду – все мне добра посулят.

– Иди, иди-тко, продал и иди, – бубнит Манефа.

– И то верно: пошел.

– Грибки, грибки свеженькие, токмо что из лесу!

И жил в нем целый мир – сказочный и земной, разрушенный и недостроенный, живой, но невоплощенный. Все его радовало или печалило, удивляло или озадачивало: и как ребенок, впервые увидевший петуха или кошку, он смотрел на все окружающее и происходящее удивленно и восторженно. Казалось бы, подозрительный, мнительный и настороженный, как и большинство сегодня, он был до грусти доверчив и одинок.

– Как гожо-то мы с тобой сидим, друже, а! Вот бы: летом у меня в деревне, а зимой – у тебя, здесь, вместе! – и засмеялся над своей додумкой. – А что, Матвей Иванович, махнем к добрым молодцам – в журнал? Выберем пяток моих опусов – и махнем завтра, пусть почитают, а?

Знаю – откажут, знаю – читать толком не станут, знаю, кроме досады и горечи – ничего. Смотрю на Федора и раздражаюсь: ведь скажи – не поймет, затаит обиду. Это ведь не грибы, не чужие книги, а его рукописи – и здесь он уже неумолимо настойчив. Молчу, гложет досада: «Ну, неужели ты не понимаешь? – не надо идти, не областная газета». Досада, досада – и до сих пор мне стыдно за ту досаду, за раздраженность. Хоть прощенья проси, да не у кого.

Вышли из метро – вот она и редакция. И здесь уж Федор с каждым шагом видоизменялся: то возился-закуривал, при этом ломал спички, то беззвучно усмехался-хихикал, покручивал недоуменно головой, то вдруг запошаркивал сапогами, ссугорбился, а перед входом в редакцию подзадержался, разгладил усы, бороду и растерянно оглянулся по сторонам – он робел как оглашенный перед входом в храм. А переступив порог в общий коридор, стянул с головы ушанку, вытер тряпицей лоб. Так до конца он и не освоился – и это торпедист Гурилев, который даже за лафет не прятался.

Я чуточку знал заведующего отделом прозы: понимающий, пожалуй, редактор, но несколько бездушный и циничный.

Представив Федора как лесника и литератора, наблюдательного и опытного, я попросил прочесть тотчас, но если и отказать, то по-человечески, помягче.

– Ты же знаешь, Матвей, не умею, не могу! – тотчас и во весь зев. – Много у него?.. Тридцать страниц. Прочтите, – велел сотрудникам. – Я буду у зама. – И ушел, чтобы не вмешиваться.

Федор притулился к стене как загнанный. Шапка в обеих руках на пупке – ну, сирота сиротой. Молодцы читают, а он то на одного, то на другого зыркает глазами, головой покачивает. Быстро листают: поменялись рассказами. И вновь листают.

На поток приученные отвечать письменно «не подошло, привет», не привыкшие вот так, с глазу на глаз, оба вдруг проявили интерес к событиям в рассказах, то есть, а что было дальше в реальной жизни. И доверчивый Федор оживился, решив, что такая заинтересованность – добрый признак. Оживился, повел речь, но я-то видел, что разговор вообще уходит от рассказов.

– Вы сначала скажите человеку: пойдет это или нет?

Оба точно спохватились – и в один голос:

– Нет.

Федор остороженько взял свои рассказы со стола, сунул их в мою сумку и негромко предложил:

– Пойдем, Матвей Иванович.

– Заведующегождемся?

– А зачем? Не надо. – И он точно воспрянул духом, распрямился. – Да таким добрым молодцам попадись Бунин – и того перетрут.

– Перетрут, – соглашаюсь с усмешкой, а сердце щемит: досадую.

– Вот я и говорю: айда, Матвей Иванович, такая управа не по мне.

И в дверь.

– Ну и охлестки! Пятнадцать страниц за пять минут валят! – до самого отъезда с недоумением восклицал он.

И этот Федор был мне понятен. Я не пожалел, что вместе мы побывали в редакции журнала. Ко всему, лишний раз убедился, насколько же хрупок и насколько дорог нам личный мирок творчества. Нет, не тщеславие. Да и какое, скажем, тщеславие, если ни одной публикации!.. А вот отдать что-то на поправление – никак. Бросить, от всего отказаться – тоже никак. Ведь это значило бы разрушить свой дом, оказаться незащищенным перед лицом безразличия и холода. Когда говорят: плохо, недостойно – можно согласиться. Но когда заявляют: ты не так пишешь, не так думаешь, надо вот так и вот так – это оскорбляет и унижает; это уже разрушение какой бы то ни было личности... Если же лгать, писать и думать – как надо, то и тогда тепло из дома уйдет. Нет уж, или гони взашей, или принимай таким, каков есть.

– Да, Федор, хочу-хочу спросить и забываю: ты пенсию-то оформил?

Он заметно вздрогнул.

– Пенсию?.. Отказали. Еще пять лет велено погодить.

Не знаю подробностей, как отказали ему, но то, что при отказе он немедленно отлил какую-нибудь флотскую бляшку – плюнул, хлопнул и ушел – в этом нет никакого сомнения.

– Да будь она, эта пенсия! Дал бы Бог здоровья – кусок я всегда добуду!

Он заранее был готов к тому, что в пенсии с пятидесяти лет ему откажут. Но того, что случилось дома, не ожидал. Молчал, не рассказывал, расстраивать не хотел...

Федор прошел на кухню, сел отдышаться. Сын – он со дня на день ждал вызова из Владивостока: служить-работать – до времени из комнаты не выходил. Маховик раскручивала Анна.

– Молчишь-то што? Что ли, аршин проглотил?

– А что говорить?

– С пензией-ти как?

– А никак. Пятилетку велено погодить.

– Знамо дело. Он, вишь, взлягивает, а ему пенсию.

– В гробине видал бы я эту пенсию! Без нее проживем – клянчить не пойду.

– Так, так. На нет и суда нет. Иди-тко, муженек, на завод, работу работай. – Анна набирала темп от слова к слову. – Иль я тебя, мужика, кормить стану? Чай, у меня силов-то помене твоего... Все жилы повывотала. Хрен ли это за жизнь. И как хошь, Федор, я тебя содержать не стану...

«Ишь ты, меня содержать! Загребешься. Я и сам могу любого содержать. Или не хватает дуре: меда на всю зиму, грибов – и сухих и маринованных, картошки-моркошки – на всю зиму, утки до сих пор свои, да и деньгами выручено поболее твоей зарплаты. Знаю ведь, чего жаждешь: чтобы лето там, а от холода до тепла – на заводе. Прорва ненасытная. А здоровье-то на кого ухлопано – не на вас ли?!» – Все это хотелось выкрикнуть злобно, как выстрелить, но знал Федор, прока и от этого не будет, лишь злоба.

А жена и без того уже расплилась до слез: – Ишь, почитывает книжечки да дурь пишет. Ни стыда, ни совести – на загорки бабе закрывался...

Вышел бы вот сын, Вася, да и сказал бы: прекрати, мама. Враз и умолкла бы. Он и вышел, только молчал, как будто наблюдал с интересом, а что из всего выйдет. И когда мать начала вышвыривать в коридор барахлишко отцово, выкрикивая:

– Загребай и катись в свою деревню! Нешто это мне, больной, мужика содержать! Детей одна тянула – он мыкался, а теперь – его! Нетути дур – поищи! – и тогда сын молчал, как сторонний наблюдатель.

И оборвалось сердце, упало с ударом, как червем подточенный плод. Ведь сын не поддерживает, сын – против!.. И по затылку точно плитой шмякнули – онемел затылок. Не запомнил, как и сгребал барахлишко. И пошел в ночь, и сын не сказал: «Куда же ты, папа, на ночь-то глядя?» Сам остановился в дверях:

– Вызов пришлют – сообщи, проводить приеду.

– А что меня провожать? Не маленький, – ответил сын.

Вот и весь сказ. Вот тебе и пенсия, вот тебе и конвейер, вот тебе и раскол. Господи, на все Твоя воля.

Около чайной-забегаловки автобус развернулся – покатыл на отдых.

Березовая мальковская роща: здесь где-то стояли с отцом, а Свистун под гармошку круги давал. Ни церкви, ни надгробий, ни крестов – лишь чайная-чапок при дороге да гальюн общественный меж берез.

Тихо. И звезды чистой россыпью в небе поблескивают, как живые, будто бы рядом – ниже луны. Но тревога в звездах – и не понять... Господи, где отца-то закопали или сожгли? Ни души... И ноги не двигаются, как не свои ноги. И затылок тупой, бесчувственный. И снег не хрустывает под ногами, не бодрит, – оттепело. И чемодан по ногам, по ногам – выкинуть его, что ли... И звезды какие-то взмыленные, как червонцы орленые... Загудел ветер-верховик за спиной, в погостовой роще. Оглянулся: темень, огоньков живых в Мальках не видать... Никак ураган-штормяга. Хоть бы засыпало, свалило бы да замерзнуть, что ли... Накатил, обрушился на спину крупными хлопьями снег, косой, с ветром – точно на Севере... Эх, ходил бы давно первым... А снег лавиной – в несколько минут не видно и рук своих. Сел на чемодан спиной к ветру, поднял воротник: заметай – все равно, пропадай пропадом... Светом озарило, как сиянье на Севере: и над самой-то головой грянул такой гром, какой и летом редко случается – Божья воля. Всего один удар, и минуту – металлическое рокотанье: как эскадрилья «мигов». Закрыв глаза, уронил голову – заметай. Хлещет, беснуется тяжелый ветер с тяжелым снегом, и кажется, – конец света. А и всего-то минут десять: открыл глаза – небо звездное, ни ветра, ни снега. Тишина... Да и было ли все это?.. Без начала и без конца, из века в век бродит славянин по снежным полям России, и нет ему ни пристани, ни приюта. И ноги еле передвигаются, и глаза слепнут, и не понять, никак не понять – где правда, где свет, где истина... Снег, снег – ни голоса, ни жилища, упасть и не подниматься. Водила нечистая сила кругами, как Свистуна;

добрая сила – вывела: холодный слепой дом, пазы венцов забиты снегом и на крылечке сугроб. И четыре липки – четыре на костях, как сторожевые. И все здесь.

31 марта получил от Федора бандероль – в почтовой мешочной бумаге. Кроме письма – травы пакет да четыре рассказа-коротышки: у двух и заголовки знаменательные: «Пензия» и «Роковой удар». Письмо тоскливое, тяжелое, с предчувствиями, и даже такая в нем фраза: «И нет у меня ни жены, ни сына, ни семьи – один как перст, как ты. Кажется мне, друже, жизнь-то и прожита». И тотчас смягчение, шутка: «Чувствую я себя, как Толчин на коняге».

... После недельной тряски-раскулачивания член сельсовета Толчин ехал на ночлег к молодой вдове-любовнице. Вороная с подвязанным хвостом кобыла бежала мелкой рысью по озимому мягкому клину. "И что так на сердце тяжело, – думал Толчин, – или дома что с женой, с детьми – неделю не был". Усталый и несколько рыхлый Толчин обвисал с седла, точно куль, вздрагивал от непонятного предчувствия тревоги: что-то, гляди, неладно, как-то нелепо раскулачивали – что ни хозяин, то кулак... На седловине пригорка лошадь пошла шагом, устало помахивая башкой. Уже видна в сумерках скособолившаяся фигура Толчина, уже уловим запах сбруи и табака... И вот он, вдруг – роковой удар! И только звон в ушах. Толчину показалось, что он вскрикнул. Запомнил – руки упали на луку... Кобыла всхрапнула, рванулась вперед – Толчин вывалился из седла, поволокло в стремени. Задним копытом лошадь раскроила ему голову... Через минуту нога вывернется из стремени, но пионер коллективизации, неумолимый Толчин будет уже мертв.

Лишь через месяц из письма Анны я узнал о смерти Федора. Письмо лицемерное, со слезливостью и буханьем слов, да и написано лишь затем, чтобы узнать, а не должен ли я Федору денег?... Не должен.

Умер он девятого апреля, накануне Пасхи, вечером или ночью – свет горел в доме две ночи подряд, и лишь на третьи сутки его нашли в огороде. Раскинув руки, вниз лицом, он точно жаловался матери-земле или выплакивал свою боль...

Федор чувствовал близость своего конца. В письме Анна сетовала, что и «коронить-то пришлось тратиться», а «добра-то, что и было, все роздал чужим людям». Правда, о деревенском доме и о пасеке из семи ульев она помалкивала...

Как только услышу шум над головой – шум зимнего ветра, невольно вздрагиваю, озираюсь поверху: жду – хлынет ветер со снегом, ослепит, закружит, вспыхнет молния и обрушится рокошующий гром – Божья воля...

Прогремит, наверно, скоро и надо мной.

Нельзя привыкнуть к утратам, с утратами можно смириться, но и тогда впереди будет оставаться главная утрата – себя.

Однако мудра природа, природа человека – вдвойне. И прожитый год приносит успокоение, снимая вечный болевой вопрос – почему так? – и убеждая в личной неистребимости.

Неистребимой остается и жажда памяти.

«И не есть ли это вторая жизнь – память?» – подумав так, поднимаю голову: через открытую дверь мне видно спину ссутулившегося Федора: он замер, он молится, он в мыслях, как если бы заглянул в вечность и увидел вечность, бессмертие – и ему наконец открылась Истина.

И неодолимо желание заговорить, и я говорю: «Федор Яковлевич, друже, а ты не забудь – помолись обо мне, за меня помолись». Но Федор погружен в себя или в молитву – не слышит,

не воспринимает. Нижняя рубаша на нем морозно-белая, холщовая, вздрагивает и всплескивается, как на ветру.

«Не надо мешать», – пристыженно думаю я и невольно вздыхаю:

– Ах, Федор, Федор...

1978 г.

Осада

Глава первая

1

Рано утром, когда весеннее солнце еще не поднялось над Братовщиной, Петр Николаевич, или дед Смолин, в нижнем белье вышел на крылечко. Придерживаясь рукой за влажное перильце, какое-то время он стоял с закрытыми глазами, вовсе не осязая утреннего холода.

– Вот и все, – наконец сказал он вслух и широко открыл глаза, устремив свое лицо к дому Серовых, зная, что вот теперь и должен выйти ко двору Федя, чтобы размяться двухпудовой гирей. Дело молодое, да и сила ломовая. В деда пошел, тот в парнях подкову ломал шутя.

И верно – стукнула входная дверь в доме наискосок, и на крыльцо вышел рослый и крепко сбитый Серый – так его звали в Братовщине.

– Федя, – тотчас вдруг задохнувшись, с хрипом окликнул дед Смолин, – подойди ко мне, Федя! – и помахал свободной рукой. Иссохший и седой, в свои без малого девяносто лет, дед Смолин выглядел отцветшим одуванчиком, вовсе не отягощенным материальным существованием.

– Ты что, дед, взял и оглушил?! – Федя посмеивался. – Или проспать боишься – поднялся до света.

– Теперь уже не просплю... Уважь, Федя, – позвони там нашим, скажи, пусть Вера поспешит... скажи, дедушка, мол, умирать собрался.

– Так уж и умирать?

– Так уж... А ты меня по травке прогуляй возле дома, а то и подальше, если минута есть.

– Это можно, – согласился Серый, глянул в лицо деда Смолина и увидел безропотную смерть. Была она такая простая и такая необходимая, что даже не пугала своей слепотой.

Как ребенка, под руки, он приподнял старика и переставил его на землю. И они пошли по первой травке. И ветерок окатистый омывал их, и улыбался Серый снисходительно, а по лицу Петра Николаевича стекали в бороду мутные слезы.

Это было 1 мая, в год тысячелетия Крещения Руси.

Чернобыльским помрачением обволакивало небо, разодранные тучи беспорядочно кружили над пораженной землей, и в их холодные разрывы остудно проридались лучи яркого беле-сого солнца.

Не из-за горизонта земли, не из-за окаемки леса, – из-за многоэтажных бетонных домов поселка за магистральным полотном железной дороги являлось солнце в гневе и ярости, строго оглядывая прилегающие окрестные дали. Но представлялась центром всего – Братовщина, опоясанная полукилометровым кольцом железнодорожного полотна, с опорами в два ряда, с паутиной растяжек и ведущих проводов под напряжением, – испытательный полигон... Справа, в пяти километрах, за жидким смешанным лесом, за высоким забором, – закрытая территория; слева – железнодорожные мастерские, ангар под состав, многоэтажное Ведомственное учреждение и пригородная платформа; а прямо на запад, за лиственным редколесьем и полями, – воинская часть и аэродром с множеством полукруглых оцинкованных ангаров. По дороге от поселка в воинскую часть неперспективные погибающие деревеньки – Долбино и Андреево. Но прежде всего, в железных узах – Братовщина – село дважды неперспективное. И застыло над Братовщиной солнца ярое око, затуманенное чернобыльской печалью. Нет внутри железного опояса высоких деревьев – срезали, чтобы просматривалось кольцо; бывлая пашня поросла

кустарником; оскверненный храм Бориса и Глеба без креста; погост заброшен; выпал из сельского порядка когда-то двухэтажный полукаменный дом – была барская усадьба, потом по порядку: изба-читальня, школа и правление колхоза, жилье для погорельцев. Теперь это уже не дом – остатки каменного этажа. А перед ним на площадке уныло стоит бетонный забытый солдат на высоком фундаменте, где среди имен погибших на фронте односельчан значится и дед Федора – Серов Г.И. По количеству дворов на каждый приходилось по убитому солдату. Отстреляли мужиков и дома их повыврали с корнем из земли. И давно уже, казалось бы, должна остановиться жизнь в Братовщине, но не остановилась – продолжается. Вот и теперь, ни свет ни заря, а эти двое прошли до оскверненного храма – и крестится старик, и шепчет молитву. Дед Смолин в этом храме и крещен был, и венчан, а уж отпеть – не отпоют его здесь и на кладбище рядом с предками вряд ли похоронят, увезут за пятнадцать верст на место бывшей московской свалки...

2

В тот же день, ближе к обеду, прибежала внучка Вера – месяц тому, как ей исполнилось 18 лет. Как ветерок, стучая дверями, влетела она в избу.

– Это ты что, дедуля, какие слова передаешь! Это кто тут умирать собрался?! – она откинула занавеску на двери и умолкла на полуслове. Дедушка в черной косоворотке и в темных брюках, с черной ленточкой, опоясывающей лоб, стоял на коленях перед горящей лампадкой. Тихим, осипшим голосом пел он Акафист Пресвятой Богородице. Лишь на долю минуты задержалась в дверях Вера, уже тотчас порхнула она к деду, стукнулась на колени рядом – и вместе они продолжили пение... И радостно вздрогнуло сердце деда; он развернулся к внучке, нашел рукой ее голову, склонился и поцеловал стынувшими губами...

С помощью внучки Петр Николаевич с трудом поднялся с колен и тотчас лег в постель, даже говорить не было сил.

– Дедуля, а ты и впрямь прихворнул...

В знак согласия он прикрыл глаза.

– Дедуля, а врача вызвать?

– Нет.

– Дедуля, а ты ел ли сегодня?

Качнул головой: «нет».

– А поешь ли – я приготовлю?

– Поем, Верушка, – тихо отозвался дедушка, – и молочка попью...

И захлопотала внучка, загремела посудой; позвякивая бидончиком, побежала по молоко – и вновь ожило смолинское гнездо, древнее как мир.

Старик чувствовал, как в теле его угасает жизнь, как из каждой клеточки выпадает живое вещество, и, тем не менее, он знал, что ни сегодня, ни завтра не умрет – до тех пор, пока не скажет всего, что должен сказать, пока сам не произнесет в сердце своем: «все...» Неразобранные мысли и суждения опутывали его сознание томящей паутиной, так что он не мог стройно и разумно рассуждать – и в этом таилась немощная сладость уходящего человека... Надо ей наказать и передать, а дня через два позвать отца Михаила, тогда и объявить, а как иначе... И проваливалось, валилось сознание в неразгаданную вечность, в вечный покой. Но вздрагивало усталое сердце, и тогда вздыхал старик полной грудью и открывал угасшие глаза:

«Господи, путь будет так... Дал Ты мне долголетия по немощи моей, наверно, для свидетельства... жизнь прошла, а я ничего не сделал...»

Никакой болезни в себе он не чувствовал, но сознательно умирал – достаточно было согласиться со смертью.

А сейчас он отдохнет и поднимется на ноги, и будет жить, как жил вчера и позавчера... Смолин с усилием закрыл глаза, так что в висках стало больно – в незрячих глазах поплыли розовые круги и оперения, а перед мысленным взором предстала сегодняшняя Братовщина... Родная Братовщина, что с тобой стало...

За последние лет сорок ни одного нового дома в Братовщине не построено; за последние сто лет число дворов неизменно уменьшается – осталась третья часть, разреженных и раскиданных. Отрешение от земли и сельского труда; изнеможение и помешательство внутри кольца испытательного полигона – сегодняшний день. Иногда казалось, и как только могут люди жить в этих условиях?! Живут. И даже тогда, когда ночь напролет пустопорожний состав лязгал и громыхал вокруг Братовщины, люди ухитрялись спать, и только больные да старые постанывали и посылали проклятья властям.

3

– А ты у нас, дедушка, хранитель Братовщины, тебе и умирать нельзя, – кто Братовщину хранить будет? Так-то!

Смолин посмотрел на внучку отсутствующим взглядом и тихо сказал:

– Вот ты и будешь... хранителем.

Они сидели за обедом и непринужденно вели разговор.

– Да ты что, дедушка, какой же я хранитель... и лет мне, да и вообще!

– Господь хранитель всего, а уж кому Он вверит дело Свое – только Ему и знать... А умереть, что же, впереди вечность. – Старик вяло хлебал мягкий молочный суп, и белые капельки с ложки падали и повисали на бороде.

Вера любила деда, как никого в родне, все ее сознательное детство было связано с ними погибающей Братовщиной; и теперь она пристально всматривалась в его лицо – и уже явственно понимала, что любимый ею человек, действительно умирает. Казалось, и губы его уже омертвели и трудно говорить.

– А ты вот, внучка... побудь теперь дома, не отлучайся, – он помолчал, – недельку, что ли...

По кольцу железной дороги пошел состав. Поначалу лишь постукивание и посвистывание электровоза... Оба поморщились, хотя и смирились за долгие годы, привыкли к обложному грохоту, но всякий раз это воспринималось как наказание.

– Ну, пошел черт по бочкам... – Петр Николаевич усмехнулся и положил ложку на стол. – Авось не на всю ночь...

Вместе с грохотом и лязгом металла как будто кто посторонний входил не только в помещение, но и в жизнь человека, проникая в подсознание.

– И долго все это будет?

– Это испытание?... Долго.

– Теперь уже навсегда, наверно.

– Нет, не навсегда. Вот если, когда церковь откроют, вся Братовщина молиться пойдет – тогда сатана сорвется со своих путей.

– Такого не дожدهшься. Потому и говорю: навсегда.

– Все в руках Божиих, – согласился Петр Николаевич. – Чайку поставь, Вера... Оно все так кажется: бесконечно, долго, навечно, а Господь возьмет и по-своему рассудит – все «бесконечное» враз и рухнет. Уж какая прежняя Россия была, до переворотов – не было в мире государства богаче и сильнее, а в одночасье и рухнула. А сегодня и того проще может быть.

– А ты ложись, дедушка, ложись, смотри, и рука дрожит.

– Устал, – согласился он, – чайку попью и лягу... Нам с тобой еще много говорить... – И шарил, шарил незрячей рукой по столу и никак не мог найти чашку.

Вскоре поплыл запах заварки, хиленький, но запашок. Вера наполнила чашки чаем, поставила на стол карамельки и сухарики, и сама села к столу. А дедушка одной рукой все ощупывал край стола, а второй так и пытался что-то нашарить – тщетно. И только теперь Вера поняла, что он ослеп.

– Дедушка, а дедушка, да ты, что ли, не видишь, ослеп, что ли?

Петр Николаевич вздрогнул и упрямо поджал губы:

– Нет, Вера, я вижу... Вот посмотри в окно – Федя Серов крылечко поправить решил.

– И правда, дедушка, что-то он там затевает.

– Вот так-то, а чаек мне пододвинь... руки отмирают.

– Дедушка, а не вызвать врача?

– А это зачем? – и дедушка добродушно усмехнулся.

4

На удивление «железный дракон» к вечеру уgomонился, и даже состав вагонов припарковали к ангару. Как обычно после грохота наступали благостные часы – Братовщина погрузилась в тишину.

Петр Николаевич лежал на кровати. Вера вымыла посуду, убрала в комнате, сходила за свежим молоком.

– Спишь ли? – управившись с делами, спросила она.

– Теперь уже не время спать, – и мудростью повеяло от его слов. – Прочитай мне главку от Иоанна... восьмую.

И она прочла.

– Вот ведь как! – восторженно так и воскликнул он. – Кто без греха, тот и брось камень первым... отец ваш дьявол!.. Строго судил, но уж и праведно. – Помолчал, повздыхал, сложил на груди руки, чтобы унять дрожь, и наконец сказал спокойно: – А ты, Вера, вот что: ты уже взрослая и в Господе живешь – ты не пугайся, что я умру скоро, мой век уже за плечами, без двух годов девяносто... Достань из комода, в правом ящике, на дне, синюю папку... достала? Вот и раскрой – сверху оно и лежит, завешание. А завещаю я домик тебе, там и документ оформлен и заверен у нотариуса, и деньги на пошлину я скопил – это тебе подарок от меня... А еще я завещаю похоронить меня на здешнем кладбище... знаю, знаю, что тридцать лет не хоронят, а ты вот меня и погребь без разрешения, а где – нарисовал я где и разметил точно: рядом со Смолиным... И еще завещаю: сорок дней жить тебе только здесь, в Братовщине, и каждый день над могилой читать Псалтирь – пять, десять минут. Минует сорок дней, позови батюшку, пусть панихидку отслужит на могилке – и все. Дальше тебе Бог укажет дорогу – можешь оставаться в Братовщине, можешь ехать к матери, твоя воля... А еще я тебе завещаю – крест от нашей церкви. Когда безбожники рушили храм, в конце пятидесятых, при Никите сумасшедшем, я ночью крест сорванный и увез на дровишках – и ждет он своего времени у нас во дворе, на клетушке под сеном. Так вот, когда срок придет, ты и объяви об этом, пусть и воздвигнут его на место. И икону храмовую возвратишь – Бориса и Глеба. Вот и весь завет... Здесь в папке все бумажки-документы по дому. Господи... – Он откинулся на подушку, но и тогда, видно было, голова его содрогалась от напряжения.

Все это было сказано очень просто, однако Вера, привыкшая к тому, что дедушка просто так ничего не говорит, и ему надо верить – задыхалась, как будто воздух застревал в груди. Как это: дедушка – живой, с которым только что из-за стола, пересказывает свое предсмертное завешание. Ведь это же как на своих похоронах прощальное слово. И она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать навзрыд от пронзительной боли и обиды... Вызвать скорую помощь, увезти в больницу, и врачи, конечно же, не дадут ему умереть – и тогда он еще поживет.

Дедушка легко угадал ее состояние:

– Ты, Вера, и не думай, – никаких скорых, никаких врачей, никуда из дома не увози – ни живого, ни мертвого, только в храм... Да я и чувствую себя неплохо – бывало хуже. А что с завещания начал – так чтобы успеть и не забыть... Ах, как хорошо, что дожил я до весны... Вот и Федя утречком по Братовщине меня прогулял. Еще-то, наверно, и не выберусь...

Ты, внучка, не печалься – все ладно складывается. Господь меня балует... А теперь из комода, ящиком пониже, мою заветную книгу... Первую тетрадь писал мой отец – за шесть лет до моего рождения начал. А заголовок – это уж я после наклеил.

– Хроника села Братовщина, – прочла Вера вслух. – Начато в 1894 году.

– Так оно и есть. А знаешь ли, почему в 1894 году?... Откуда тебе и знать. В том году была перепись населения, и прадед твой был переписчиком по Братовщине. Тогда он и решил составить историю Братовщины. Он и стал записывать коротко все, что связано с селом.

И Петр Николаевич начал рассказывать о том, о чем Вера уже не раз слышала, но она не прерывала его, наверно и потому, что перед ней стопкой лежали тетради, которые прежде она и в руках не держала. Сидела и тихонечко перелистывала первую тетрадь, прадедовскую. А дедушка говорил о том, чего и сам он не видел и видеть не мог, хотя ему не раз казалось, что он не только помнил, но и пережил то время, те события, о которых вот так же и ему рассказывал его отец. Говорил Петр Николаевич медленно, делал продолжительные передышки, однако в речи его были и здравый смысл, и последовательность, и логика:

– Отец мой, Николай Александрович, был доброй души человек, и больше всего на земле любил он Церковь и семью. Был он, кроме всего, церковный староста и на клиросе пел. И всегда сожалел, что не смог стать священником... Потому и хотел, чтобы я во что бы то ни стало выучился на клирика. С малых лет я бывал у Бориса и Глеба как дома: пел с отцом в хоре, прислуживал алтарником и готовился у отца диакона к поступлению в духовное училище. Так все и получилось бы, да помешала война. В 1914 году отца мобилизовали. Перед отправкой на фронт он уединился со мной и сказал памятные на всю жизнь слова...

Ему казалось, он говорил и говорил... Однако Петр Николаевич молчал – долго и как-то затаенно, и когда Вера уже хотела окликнуть его, он вдруг всхрипнул – и потекла по комнате песня спящего человека.

«Вот и хорошо, – подумала Вера, – пусть отдохнет – он ведь теперь как ребенок, ночь со днем путает».

Тетради были объемистые, разного формата – всего десять. И только первая тетрадь, прадедова, походила на старую медицинскую карту, к которой подшивали, подшивали листки, и в конце концов она превратилась в разбухший потрепанный сборник.

«Дедушка еще поживет», – подумала Вера. Вдохнула, пододвинула настольную лампу и взялась за вторую тетрадь, первую дедушкину, чтобы найти те «памятные на всю жизнь слова». И ведь нашла, и даже очень скоро:

«Вот, Петруша, – помню, сказал мне тятенька, – теперь в семье ты голова – старший мужик, никуда не денешься. А я, как чувствую, сынок, не возвращусь с войны. Батюшка отец Василий говорит: дело крайнее началось – сатана свое войско поднял против православной веры... По грехам нашим – доблудились, добрехались. Теперь только успевай отпевать. И это надолго. Не знаю, устоит ли Россия, наверно, не устоит. Но бесы все одно власть возьмут: веру, церкви, Россию разрушать станут. И кто устоит – устоит, а нет – сотрут с лица земли. Каждый дом, каждый клочок земли, каждое село и церковь отстаивать, защищать надобно. Вся жизнь будет – устоять. А евонную армию так просто не осилишь: только с крестом, только на земле, только в своей крепости и можно устоять. Из села не уезжай, не уходи, даже если гнать будут; веру не продавай, от веры не отрекайся; трудись всегда честно, а если что отбирать станут – сам отдай; храни семью и веру... Батюшка говорит – это только начало, потом брат на брата пойдут... Пока есть возможность – учись. Наука не помешает. – Отец из рук в руки сунул что-то, завернутое в тряпицу. – Сохрани, авось понадобится. Тут я по Братовщине бывало

записывал, захочешь – продли. Интересно знать, что было полвека назад: вот и узришь, куда сатана правит... Семья и Церковь – главное. А село – наше отечество. Вот за это я и лягу. – Отец обнял меня и заплакал. И ведь угадал – как в воду глядел, уже через месяц погиб...» «Что же он такое особое наказывал? – вяло думала Вера. – Учиться... какое-то училище или техникум дедушка все-таки окончил. В школе работал, малышней учил. Не оставлять село... Не оставил. Только и покидал, когда на войну уходил. Не изменять вере... Не изменил. Все так.» Однако трудно было понять, и она не понимала, что же так всякий раз волновало деда, когда он вспоминал своего отца и последний его наказ. «Нет, читать надо с начала, иначе и не поймешь...»

Тетрадь первая (записал Н.А. Смолин)

Братовщина – село; земский участок 1; стан 1; призывной участок 2; следственный участок 1; врачебный участок 1; мужского населения 264; женского населения 282; расстояние от уездного города 15 верст; дворов крестьянских 76; церковь 1, Бориса и Глеба» – вот это и надо было мне записать для переписи, что я и сделал, к сему приложив список селян.

Хотел узнать, когда началась Братовщина и почему село называли Братовщиной. Но ни батюшка, ни старики ничего толком не знают и не помнят. Говорят, Братовщина была всегда...

Кроме огорода и жита, сеяли много овса, даже торговали овсом. Зимой мужики артелями уходили и уходят в Москву на заработки. Чаше занимаются кровельным делом, плотничают.

Вчера долго слушал о. диакона. Он у нас старый, лет ему за семьдесят, и он много знает. Помнит и барщину, и крепостное право, знает много бывалок. Глянулась мне бывальщина об Ондрюшиной тропе: вокруг Братовщины, в полуверсте, проложена невесть с каких времен тропа. Отроки по этой тропе ходят по малину и по грибы. А бывалка об этой тропе такая... Вот думал, думал и не решил, с чего начать.

Целый месяц думал, так и не надумал ничего. Значит, и думать не надо. Как услышал – так в десяти словах и запишу.

Когда-то, в какие-то лета, после Петра Великого, то ли служба был в храме, то ли при храме человек Божий ютился. Только начал он юродствовать, да так лет сорок и юродствовал. То обличать начнет, то пророчит. А заглавное его дело было: оберегать Братовщину. Повесит ботало на шею и всю ночь по деревне покрикивает да побрякивает. Говорили, не раз от пожаров спасал. А потом наладился вокруг села ходить с возгласами да причетами; лезет по кустарнику, по болотине аки медведь, обойдет круг – все ноги в кровь посшибает, а к вечерней – к церкви и проповедует: «Вот бачки, вот чечки (у него все были «бачки» да «чечки»). Я его крепко пугал – нечистый и не пройдет, токмо сам не бежи за тропу». И запоет: «Христосе, помилуй, Христосе...» Так тропу вокруг села именем его и прозвали – Ондрюшина. Бывало отец или мать спрашивают: «Далеко ли собрались?» – «Дак на Ондрюшину тропу по грибы». – «За Ондрюшину тропу ни шага, – строго наказывают, – там нечистый». И мы так уж и знали: за тропой нечистый с мешком.

И закончилась жизнь Ондрюши-юродивого на тропе – страшно. Его нашли обезглавленным. Одни говорили, что это дело рук злых людей, другие

– что это медведь нашалил, овсы-то кругом, а третьи рассудили, что в любом разе – сатана расправился.

А тропа Ондрюшина и по сию пору вокруг Братовщины не зарастает. Злому человеку и теперь говорят: «Шел бы ты за Ондрюшину тропу, а здесь беззакония не твори». Или так: «Что ли, из-за тропы явился, когти-то выпускаешь?..»

Погребли Ондрюшу на кладбище в Братовщине – плакало все село, страхась кары Божией за лютую смерть блаженного. Но никто не знает, где и когда могила его на кладбище затерялась.

Больших семей у нас нет – до восьми душ детей обоего пола; лишь две избы, где по десяти, но там с чужими сиротами, а за десять и вовсе нет. Почему так – не знаю. И никто не знает. Говорят, и этих трудно прокормить. Оно так – богатых в Братовщине нет. Справедливо сказать, что и нищий один. Да еще один пьяница. Оба не хотят работать. У одного четверо детей, у второго – трое.

По кругу на каждом дворе по две коровы, по две лошади, по десятку овец, по две чушки, птицы по три десятка, куры-несушки, держат и гусей, но мало.

Не хватает пастбищ и покосов; выручают барские луга – на корню траву и берем. Безлошадные опять же двое... Пришел я к Семену Нищему с переписью и спрашиваю:

– Семен, фамилия у тебя своя или приклеилась – Нищий?

Смеется:

– Ты хлебопашец, староста, а я нищий – стало быть, по труду, а так-то Смолин Семен Иванович.

Я даже перекрестился от неожиданности:

– Господи, – говорю, – и не знал! Что же – сродники?

– А мы, – говорит, – все сродники, от Адама.

Лежит на печи и смолит окаянное зелье, дыма – как в кузне. А из-за него дети, ну, совятами выглядывают.

– Жена где? – спрашиваю.

– А пошла ради Христа просить, – отвечает. – Есть захотели.

– Просите ради Христа, а даже на исповедь не ходишь.

– А мне каяться не в чем – у меня ничего нет, и я не ворую. У вас много всего да еще воруете. Вы и кайтесь. Христос что сказал? Раздай все нищим – и спасешься. А вы не раздаете.

– Вам же давали телочку, так вы ее забили и съели.

– Эка, значит, мало: надо было две телочки дать – одну мы съели бы, а вторую выпасли...

Махнул рукой – что тут говорить?

А ко второму пришел, так этот и вовсе: посреди избы на четвереньки встал и лает. Но у этого хоть корова есть, овцы. Жена с детьми хозяйство и ведут. А то напьется, ходит по селу и спрашивает:

– Погодите, завоюем вас – всех под откос пустим...

Все же другие как будто одинаково живут: сыты, обуты, одеты, трудятся, по воскресным дням и по праздникам в церковь ходят. Огрехи, конечно же, есть, как без огрехов...

Господи, прости за словоблудие. Порок-то какой! Чем больше пишу, так как будто больше писать надо. Какие уж тут десять слов! Брошу я это все – один грех, да еще и осуждаю других.

Выслушал меня батюшка, оговаривать не стал, но посочувствовал:

– Дело это такое, опасное – по острию ходим... А затаенное, может быть, и нужно людям, а больше тебе самому и детям твоим. Принеси прочесть, что пишешь. Если слова твои неуютны Господу – бросишь писать; если доброе слово, в наущение, то продлишь. А пока скажу: прежде чем записать, десять раз обдумать надо. Слово – это не просто так. Даже повторяя чужое слово, можно впасть в смертный грех, а уж если свое слово – тем паче. От избытка чувств уста глаголют. Вот и носи слово при себе, покуда оно не созреет. Сорить же по ветру словами и вовсе нельзя...

Поговорил он так со мною внушительно, и понял я как надо: живи и думай, когда сложится, тогда и запиши. И стало просто.

Помещик наш Никита Константинович – человек вольный. В Братовщину и глаз не показывает. Управляющий приедет, соберет, если есть долги, и до срока. Одна видимость – барский дом в два этажа с прудом. А вот земля барская выручает – в аренду десятины запахиваем. Одна тягота – навоза мало, а навозить пашню не будешь – на штрафах истлеешь.

Борисо-Глебский приход людный, но богатым его не назовешь. Это и потому, что храм большой, много идет на содержание. А позалетошный год и колокол новый обрели. Иконостас подновили. И на клир, и на хор – всюду расходы. И в Москву – тоже не откажешь. Говорю как-то батюшке: а не затеять ли нам свечное дело? Нет, – говорит, – не до свечного дела, вера в людях хиреет, могут и свечи не понадобится... А я и не замечаю, что хиреет – какая была вера, такая, чаю, и теперь есть... Говорит: веруют, а выкрикнут завтра «Бога нет» – и отпадут, не все, но многие... Нет, а я, грешный, люблю и церковь, и службу, и самую веру нашу православную, и пострадавшего за нас Пастыря, Господа нашего Иисуса Христа люблю...

Читала Вера и как будто тотчас забывала, что читает и зачем читает. И не потому так, что не интересно, а потому, что все-таки понимала: дедушка, действительно, умирает. Он тихо постанывал, вздыхал или произносил отчетливо: «Господи...»

Что-то и еще тревожило Веру, но понять она не могла – что? В груди тлеяла неприметная дрожь, а отчего это – тоже не знала. «Какая бессмысленная суета. И зачем – все зачем? – думала она нестройно и вяло. – Вокруг страхи такие – и как будто не замечаем ничего. Живет в железной осаде Братовщина – и хоть бы возмутились...»

5

– До переворота в 1917 году я еще жил надеждой учиться в Духовной семинарии, – проснувшись, как ни в чем не бывало, продолжил дедушка. – Ты слушаешь ли меня?.. Слушаешь. И хорошо... Но уже в марте я понял, что пришло то время, о котором предупреждал тятенька. Теперь, думаю, никаких семинарий – началось. Я уже взрослый к тому времени был – семнадцать лет, гляди, не сегодня-завтра убивать позовут. В Братовщине заметно мужики поределели. Война и есть война... Ты, Вера, подогрей молочка, что-то дышится тяжело... А ты что все молчишь?

– Тебя слушаю, дедушка, вот и молчу.

– И голос с чего-то сел, или закручинилась?.. Ну, дело, молодое: солнышко взойдет – и девица улыбнется.

Вера молчала.

– После марта, как царь от короны отрекся, и Братовщина зашевелилась – и все вдруг начали делить барскую землю. Страшное, дьявольское искушение... Тогда же схоронили отца

диакона, совсем старенький был. После этого батюшка как-то зазвал меня к себе и говорит: «Думал я, чадо, что ты и сменишь отца диакона, а потом и меня, но не так – сбываются страшные пророчества протоиерея отца Иоанна Кронштадтского: царя уже свергли – иго иудейское надвинулось. Впереди грабежи и гражданская война. Старайся не участвовать в войне... А вот с сентября будешь в школе детей учить...» О многом еще дельно батюшка говорил... Вот и попьем молочка. – Петр Николаевич ойкнул, но перевалился на бок и даже сел самостоятельно на грядку кровати. – А который теперь час, деточка? – спросил он.

– Час ночи, – ответила Вера.

– Вот как, а я полагал вечер...

Петр Николаевич моргал незрячими глазами – и весь он был такой невозвратно отживший, что Вере до слез стало жаль родного дедушку. Она быстро подошла к нему и обняла за голову, и гладила его по-детски мягкие седые волосы и беззвучно плакала над ним. А он точно окаменел – не шелохнулся, не охнул, оставаясь неподвижным.

Лишь на рассвете они оба уснули. А когда, спустя несколько часов, поднялись, умылись и коленопреклоненно помолились, благословив и поцеловав внучку, Петр Николаевич сказал:

– Поезжай, Вера, к отцу Михаилу, скажи, что дедушку пора соборовать и причастить, сегодня-завтра. Он меня знает, поймет. А если решит сразу, вдруг, возьми легковушку и привози батюшку. Деньги в комод.

Сели завтракать, но аппетита у обоих не было. И Вера радовалась, что ей надо в районный центр, в единственный действующий храм...

Благословив, отец Михаил выслушал Веру и затем, перекрестившись, сказал:

– Петр Николаевич человек мудрый, скажи ему: пусть ждет – завтра после ранней буду.

Когда Вера возвратилась в Братовщину, то застала дома гостей – трех старух-односельчанок. Все они выстроились перед киотом, вычитывали правило перед причастием и молились. Не каждый день батюшка в Братовщине бывает – заодно и приобщиться. Петр Николаевич не предупредил отца Михаила о такой прибавке, но полагал, что отец Михаил – батюшка мудрый, он и без наказа все предусмотрит.

– Будет ли? – дедушка придерживал себя за бороду.

– Будет, после ранней – велел ждать.

– Обязательно дождусь! – весело отозвался Петр Николаевич, как и отец Михаил разумея совсем иное под словом «дождаться». – Ты нас чайком побалуй, а мы пока еще помолимся, а то когда еще соберемся...

И читали размеренно, и молились, как не молились, может быть, уже давно. А после чашки чая старушки слезно раскланялись и ушли восвояси, заранее счастливые.

6

– Так вот и направляли и учили меня добрые люди. Господи, знать, по Твоему слову... Как ведь все это помогло; а во время коллективизации что делалось – уголовщина и мародерство... Вот и дружок мой, Егор Серов, дедушка Федин, уже в восемнадцатом удила было закусил: «Даеть землюб арскую!

Наша власть!» Топор в руки – и пошел колышки вбивать. А уж какая земля, когда все умышленно гребят, когда шкуру с живых дерут, – такие холоуи в кожанках рыскали – волчье! Продналоги, продразверстки, землю дали, землю взяли – и все под корень, под корень рубят...

Так вот и батюшку нашего – ворвались с обыском. Он говорит: скажите, что ищите, и если у меня есть это – я отдам вам. В ответ рычат и за оружие хватаются... Прибежали за мной: прихожу, а ему уже и руки за спину заломили. – Остановитесь! – говорю. – Я здешний учитель и уполномоченный от крестьян. Какие претензии к священнику? – а сам к столу сажусь, чтобы записать.

– Ты что, учитель, это же контра поповская, мы его под трибунал уведем.

– Вы, может, и уведете, – говорю, – если у вас на это ордер выписан... А пока не смейте заламывать руки и не оскорбляйте человека. Разберемся, в чем дело. А, прежде всего, предъявите ордер на обыск и арест.

Смотрю, а у них лица почернели. Ну, думаю, конец нам обоим. Терять нечего. Как я закричу:

– Предъявить ордер!..

А они в дверь – и на возок.

– Ну, контра, в другой раз обоим в расход пустим!..

Так ведь и расстреляли батюшку года два спустя. Вернее, увезли – и сгинул батюшка...

– А ты, дедушка, все это записывал в тетради или заживо рассказываешь? – Вера сидела у стола, перебирала рис. – Это ведь теперь только ты и помнишь.

И впервые, наверно, Петр Николаевич не нашелся, что ответить: он подвигал плечами, pokrutil головой и даже почесал в затылке:

– Ну, дочка, ум у старика вышибло – не помню. Должен бы в десяти словах... должен бы. – Он помолчал, пожевал губами, шаря рукой по столу, как будто собирая крошки. – А знаешь, Веруша, как я мучительно долго не мог понять, зачем такая жизнь – все происходящее зачем? Понимаю: вечность, Господь, а вот зачем дорога – не мог понять.

– А теперь что – понял? – Вера так и вскинула напряженный взгляд. И в то же время ссыпала, ссыпала механически в блюдо неразобранный рис. Губы ее не то шептали что-то, не то вздрагивали, и она, видимо, вдруг поняла свое волнение – засмеялась и заговорила громко и беспечно: – Паренек, паренек, ты зачем родился? – Чтобы жить. – Паренек, паренек, ты зачем живешь? – Чтобы жить. – Паренек, паренек, ты зачем умрешь? – Чтобы жить. – А ты кто, паренек? – Пенек...

– Слыхал, слыхали я эту байку. Только и в ней не все глупо... Сил нет высказать мысль... Э-эх, – горькая усмешка исказила его лицо. – Нам с тобой эти тетради с первой до последней прочесть бы надо. Ты моя наследница – тебе и продолжать.

– Да что продолжать-то, дедушка?! – с очевидной досадой, ломая голос, воскликнула Вера.

– Как что?.. Не понимаешь?.. Повсюду должен быть хоть один человек, который знает, что он хочет и зачем на своем месте. Человек этот и сдерживает зло. Ведь Братовщина юридически на чужой земле. Ведомственная земля, потому и в церкви склад устроили, и деревья поспилили и кладбище закрыли. Они вправе Братовщину и вовсе снести. Да только близок локоток, а не укусишь... Но как только молитва иссякнет в Братовщине, так и Братовщина в тартарары рухнет... И вся жизнь в этом. Потому и было завещано не уходить... – Подумал, повздыхал и добавил: – И не уйду – с твоей помощью. И ты нигде не разрешай хоронить меня – только здесь. Попроси Федю яму выкопать, он решительный... За Божию правду бороться надо, это наш крест – вот и понесем его вслед за Господом. А иначе и зачем все это?!

От обеда Петр Николаевич отказался, объяснив, что будет поститься. И пока Вера обедала одна, он тихо рассказывал ей о том, как в Братовщине проводили коллективизацию, как уводили со двора коров, лошадей и даже мелкую живность, лишая людей личного хозяйства и переводя на трудодни.

– И верно, какие рабовладельцы, если хлеб не в их руках... А Егор Серов – мужик хваткий да работающий: вот и окреп за счет своего труда. А уж горячий – порох! Прибежал ко мне – глаза как плошки:

– Петруха, друже! Что творят, сволочи! Не отдам коней – перестреляю!

– Кого? – спрашиваю.

– А всех подряд!..

– Поздно, Егор. Это надо было в 1917 году, да и то не помогло бы... Мой, друже, тебе совет: отдай все, что требуют. Я все отдал – нет у меня ничего: крыша над головой да жена с сыном.

Молчал, молчал и наконец прохрипел:

– Ну уж нет: или пополам, или вдребезги...

А дома его ждали с описью. Он их и вытурил взащей. Председатель комиссии, жидок какой-то, возьми да и плюнь в Егора. А Егор в ответ и опустил свою «солоницу» ему на темечко – как косой подрезало.

Жена все отдала – вот это наверно и спасло семью. А Егора увели. Только в сороковом году возвратился: не узнать – что с человеком сделали... А в 1941-м мы в один день мобилизованы были.

– Эх, Петро, – шептал не раз Егор, – об одном сожалею, землей купили: колья не в землю надо было забивать, а в могилы, а уж кому – не скажу, но знаю...

В том же сорок первом я и похоронил его своими руками в братской могиле под Вязьмой.

7

Уже два дня дедушка умирал, и Вера успела привыкнуть к этому, потому что была без опыта и не верила в такую смерть. Понятно, занемог дедушка, но для смерти пока срок не вышел.

Вечером вновь лязгом и грохотом опоясало Братовщину. Петр Николаевич придвинул к иконам стул, чтобы можно было передохнуть, и начал петь вечернюю службу. Голос его был слаб и напоминал детские приглушенные слезы. А Вера поставила тесто на пирог и решила прогуляться.

Смеркалось, но видно было далеко – во все стороны. Безлюдные дома, хотя и без огней, заброшенными не выглядели: не перекошенные, и крыши под крепким шифером с телеантеннами. Здесь нет колхоза, здесь просто жилые дома, приписанные к поселку, здесь все работоспособные на производстве – в поселке и в районном центре или в Москве. До железнодорожной платформы «Крутово» и всего-то двадцать пять минут ходьбы, поэтому и удобно – при каждом доме в Братовщине по двадцать соток земли.

Вера с крыльца повернула в дальний конец Братовщины... Сельские порядки разрежены. Напротив, плечом к плечу, три дома, а дальше – пустырь шагов в пятьдесят. От дедова дома до поворота к церкви пустырь, а за поворотом шесть дворов один к одному. И дальше все так же, и в обратную сторону – не лучше... В огородах возле дворов по три-четыре теплицы под пленкой. Да с телеантенн перекликаются вороны.

Шла Вера бесцельно и медленно, опустив руки в карманы плаща и как-то даже не сознавая, о чем думает... Вот здесь дедушка спешил, чтобы спасти от безбожников батюшку. А здесь была школа, а там медпункт и магазин... И рябило, рябило в глазах, и что-то отзывалось болью в сознании, и вздрагивали ресницы... Господи, да это же состав! Как привязанный к Братовщине, состав раскручивался и раскручивался, лязгая сцеплениями, колесами, гремя пустыми вагонами. Точно колонна танков в нескончаемом грохоте свирепствовала вокруг оглушенных домишек. А когда стемнеет, когда электровоз включит слепящую свою фару, а угли пантографов* начнут искрить, состав представится бронированным драконом, решившим наконец расправиться с упрямым селом. Не раз уже давило и людей, и скот. И некуда спрятаться от света и грохота...

Дошла до крайнего дома – и никого не встретила. Справа, в размашистой низинке, небольшая свалка. Когда-то, говорил дедушка, здесь был второй пруд: первый барский, а этот – общий. Четвертая часть от села, и бывшая пашня вокруг – пустырь. За железным кольцом с

севера и запада ласкалось лиственное редколесье... И как же это могло случиться, что такое большое село стало беспомощным и вымирающим? Или для полигона не нашлось необжитого места? Да что там! Почему в храме, где еще и роспись сохранилась, устроили склад железнодорожного хлама... Они победили, но не своими руками – нашими...

– Верушка Смолина, не меня ли чаешь?... Помстилось, не батюшка ли приехал. – Старуха стояла на крылечке, вокруг ног ее кругами ходила кошка...

Уже издалека, в противоположном конце улицы, она увидела Серого. Шел он неудержимо и решительно, как обычно и ходят молодые тяжеловозы. Похоже, что и он заметил Веру – и поубавил шаг. Так они и надвигались неотвратно друг на друга. Уже можно было рассмотреть его лицо, когда Вера резко повернула направо в сторону церкви и кладбища. Ей показалось, что ее окликнули, но зов этот сгинул в грохоте и лязге вагонов.

Дедушка все еще стоял на молитве. Но лишь стукнула дверь, он оглянулся и тихо, с тоской в голосе, сказал:

– Верочка, вычитай мне молитвы ко причастию... что-то я не вижу.

– Сейчас, дедушка... Ты ляжешь или как?

– Нет, посижу, – он не тотчас сел, но прежде ощупал рукой сидение стула.

Вера включила верхний свет, взяла со стола молитвослов и подошла к деду. Прежде чем читать, она склонилась к его лицу – он сидел с открытыми глазами. Вера быстро провела рукой перед лицом, но дедушка даже глазом не моргнул – никакой помехи. Она распрямилась и спросила:

– Тебе с молитв?

– И Канон тоже...

«Грядите, людие, поим песнь Христу Богу, разделяшему море...» – начала Вера, а Петр Николаевич перекрестился, тщетно попытавшись подняться.

Вера читала легко и без ошибок, и радовалось сердце дедово – это ведь он выучил ее духовному чтению.

8

Усталость или немощность была такая, что и в постели Петр Николаевич не мог мысленно читать даже Иисусову молитву. Он ежеминутно проваливался в беспамятство, полагая, что так засыпает. Прошел час, два и только тогда его дыхание восстановилось, и он естественно вошел в круговую бесконечность: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного...»

А Вера за столом все думала, но не могла понять, когда же он ослеп... Затем она открыла прадедову тетрадь и продолжила чтение... А затем – поднялось тесто, и она взялась за начинку – завтра придет батюшка, который и ее окормляет с первых шагов и которого она любит...

Дома была мать, но не было веры. И только здесь, у дедушки, она чувствовала себя легко, потому что знала, что в сердце ее Бог. Ей с детства было радостно жить, сознавая, что она с Богом, что она Божий сосуд. Она и жила без думы о завтрашнем дне: придет день – и Господь укажет. Главное не здесь, главное – там... И вновь она вспоминала своих одноклассников-выпускников. Почему-то именно в то время особенно много говорили о смерти и смысле человеческого существования. И она видела, как искажались и темнели лица тех, кто жил без веры, для которых за гробом нет ничего, кроме праха. И лишь некоторые оставались холодны и надменны – иноверцы или атеисты не в первом поколении. Вера, по совету дедушки, не раскрывалась перед одноклассниками, но жить ей было легко и радостно... А все дедушка.

После часа ночи Вера смазала пирог и накрыла его чистым полотенцем.

9

Рано утром притопали старушки, все вместе, в один заход.

Встали помолиться и прочесть Акафист. Управились за час. Кто где разместились отдыхать, а Вера пошла встречать батюшку на тот случай, если машины не будет. В мире было тихо, как обычно бывает после грохочущей ночи.

Перешептываясь, старушки начали уже беспокоиться, когда под окнами остановились «Жигули». Из салона выбрались батюшка в плаще и глубокой шляпе и Вера. Следом шофер понес увесистый саквояж с двумя ручками. Стукнула входная дверь.

– Вот и слава Богу, – едва слышно сказал Петр Николаевич, глотая слезы.

Старушки в передней так и ткнулись под благословение, испытymi губами припадая к руке священника.

Вера прошла в горницу, чтобы помочь дедушке подняться.

Отец Михаил сосредоточенно и молча начал облачаться. Старушки только глазами хлопали и робели. В считанные минуты человек преобразился. Перед ними уже возвышался с наперсным крестом и Евангелием в руке грозный пастырь, настоятель храма. Он сам поцеловал крест, еще раз благословил прихожанок.

– А как отец Петр? – отводя рукой занавеску на двери, приветствовал отец Михаил.

– Слава Богу, отец Михаил, умираю, – и улыбка озарила лицо старика.

– Дождался...

– Как же, дождался.

Одной рукой Петр Николаевич оперся о стол, второй – о спинку стула, и как трепетная трость поднялся навстречу священнику. По иерейскому чину они приветствовали друг друга. И целовал старик святое облачение священника, и слезы катились из его незрячих глаз.

Блюдо с рисом, свечи, масло, палочки с накрученной ватой на концах, листочки бумаги и спички – все, что необходимо для соборования. И мысленно оценив все это, отец Михаил с особой любовью благословил Веру и отечески поцеловал ее в голову.

– Давайте помолимся, да и начнем с исповеди, – предложил отец Михаил и негромко возгласил: – Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа...

Около часа длилась исповедь Петра Николаевича. Слов не было слышно, но слышно было – дедушка плачет... На исповедь старушек было затрачено десять минут на всех. Исповедалась и Вера, хотя причащаться она не намеревалась.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.